КУМИРЫ
Истории Великой Любви
Любовь поэтов
Серебряного века

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

"…все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували из всех сил", – писал о своих современниках-поэтах Владислав Ходасевич. И действительно – поэты Серебряного века жили в любви, дышали любовью. Их сложные взаимоотношения не позволяли заглушить самое важное – способность чувствовать, ощущать мир, таким противоречивым, какой он есть. Анна Ахматова и Николай Гумилев, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, Владимир Маяковский и Лиля Брик, Сергей Есенин и Айседора Дункан – читая эти любовные истории, в какой-то момент становится жутко от одной мысли, что человек может одновременно пережить, испытать столько неоднозначных эмоций.

- Нина Щербак
- Серебряный век: истории любви
- Александр Блок 1880 – 1921 «Невозможное счастье»
- Андрей Белый 1880 – 1934 «Не осуди мое молчанье»
-
- Валерий Брюсов 1873 – 1924 «И снова ты»
- Владислав Ходасевич 1886 – 1939 «Мной совершенное так мало!»
-
-
- Марина Цветаева 1892 – 1941 «„Все заживает“, – мне люди сказали…»
- София Парнок 1885 – 1933 «Я слабею, и слабеет привязь, крепко нас вязавшая с тобой…»
- Фёдор Сологуб 1863 – 1937 «…Рассказать, чем сердце жило…»
- Иннокентий Анненский 1855 – 1909 «Не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света»
- Николай Гумилёв 1886 – 1921 «Сады моей души»
- Анна Ахматова 1889 – 1966 «Слава тебе, безысходная боль!»
- Николай Недоброво 1882 – 1919 «Победившее смерть слово»
- Осип Мандельштам 1891 – 1938 «Заблудился я в небе – что делать?»
- Борис Пастернак 1890 – 1960 «К ее рукам, как бумеранг»
- Максим Горький 1868 – 1936 «В этом крике – жажда бури!»
- Владимир Маяковский 1893 – 1830 «Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг»

- Сергей Есенин 1895 – 1925 «Жизнь моя, иль ты приснилась мне»
- Анатолий Мариенгоф 1897 – 1962 «С тобою, нежная подруга»
- Георгий Иванов 1894 – 1958 «По пустынным аллеям неслышно пройду»
- Ирина Одоевцева 1895 – 1990 «Я маленькая поэтесса с огромным бантом»
- Иван Бунин 1870 – 1953 «Как же нет Любви?»
-
- Зинаида Гиппиус 1869 – 1945 «Мне нужно то, чего нет на свете»
- Дмитрий Мережковский 1865 – 1941 «Люблю иль нет – легка мне безнадежность»
- Вячеслав Иванов 1866 – 1949 «Мы – две руки единого креста»
- Михаил Кузмин 1872 – 1936 «Кому есть выбор – выбирает»
-
- Игорь Северянин 1887 – 1941 «Ананасы в шампанском»
- Константин Бальмонт 1867 – 1942 «Я буду ждать тебя мучительно»
- Саша Чёрный 1880 – 1932 «Описать ее фигуру – надо б красок сорок ведер…»
- Владимир Набоков 1899 – 1977 «Ты мелькнешь в закатном блеске и уйдешь во мглу»
-

Нина Щербак
Любовь поэтов Серебряного века

Не знаю, хочешь ли ты радости,
Уста к устам, прильнуть ко мне,
Но я не знаю высшей сладости,
Как быть с тобой наедине.
Не знаю, смерть ли ты нежданная
Иль нерожденная звезда,
Но буду ждать тебя, желанная,
Я буду ждать тебя всегда.

Константин Бальмонт

Серебряный век: истории любви

Поэты Серебряного века… Кто были эти люди, большинству из которых пришлось покинуть Россию после революции? В России у них было все, а в эмиграции часто приходилось жить в бедности, страдая от внутренних метаний и реальных болезней. Несмотря на это писатели и поэты Серебряного века жили в любви, дышали любовью. Их сложные взаимоотношения не позволяли заглушить самое важное – способность чувствовать, ощущать мир таким противоречивым, какой он есть… Читая о любовных треугольниках, в какой-то момент становится жутко от одной мысли, что человек одновременно может испытать столько неоднозначных эмоций, оставаясь при этом личностью.

«Спасает ли человека культура?» – был главный вопрос и творчества, и выживания. Поэты и писатели того времени ощущали себя «последними в ряду», теми, на ком «культура» в какой-то момент «замрет». Это были герои своего времени, известные не только в узком кругу, но во всем мире. О них говорили, писали, им подражали. До сих пор личность каждого поэта, как и стихи, оживает не только в воспоминаниях, книгах и современных пьесах, но и в общем настроении, образе жизни.... Несколько «боязно» читать, а особенно писать о личной жизни. Возможно, именно о ней и стоит молчать? «Правда о чувствах» – где она? В стихах, в архивных материалах, личных письмах (сохраненных или сожженных)? Фантом… Тайна этих людей, их стихов и любви так и останется тайной, к которой возможно приблизиться не подходя вплотную…

Александр Блок 1880 – 1921 «Невозможное счастье»

«Я встретил впервые Блока весной 1907 года, в Петербурге. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик – юноши, пажа, поэта. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто – и это ему шло. Стихи читал со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя – холодком. Сам же себе туманил, как бы хмелел», – писал о поэте Александре Блоке Борис Зайцев (писатель и переводчик).

Александр Блок родился в Петербурге 16 (28) ноября 1880 года. С самого рождения его окружали бабушка, прабабушка, тетки, няни… Безграничное обожание. Друзья утверждали, что дороже матери он не знал никого: узы, соединявшие их, никогда не рвались, как и взаимная заботливость, а порой беспокойство. Для Блока отношение к каждой женщине было отголоском той «незащищенности» и юношеской нежности, которая так естественно выражалась в детском стихотворении, написанном в 5 лет:

Зая серый, зая милый,
Я тебя люблю.
Для тебя-то в огороде
Я капустку и коплю, —

а спустя годы, возможно, привело к ощущению ранимости и опустошенности.

В 1897 году Блоку исполнилось семнадцать лет, он отправился с матерью в Бад-Наугейм, водный курорт в Германии. Он был очень хорош собой, задумчив и молчалив, несколько старомоден. Ему, кстати, никогда не была свойственна любознательность, жажда знаний. Его мало увлекали чужие мысли – скорее собственные чувства. В Германии он познакомился с Ксенией Садонской, замужней красивой женщиной. В приятной обстановке светского курорта он пережил свою первую любовь. Однако юношеские стихи Блока – часто банальные, слишком мечтательные. И только к 1898 году он открыл для себя поэзию Владимира Соловьева, неразрывно связанную с образом Вечной Женственности.

Ко времени своей встречи с Любовью Менделеевой (дочерью знаменитого ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева)

Блок был сильно увлечен мистическими учениями. Однажды, будучи в состоянии близком к трансу, он увидел на улице ее, шедшую от Андреевской площади. Блок направился вслед за ней, стараясь оставаться незамеченным. Потом он описал эту прогулку в зашифрованном стихотворении «Пять изгибов сокровенных» – о пяти улицах Васильевского острова, по которым она шла. Потом еще одна случайная встреча – на балконе Малого театра. Для любого мистика совпадения не являются просто случайностью, они – проявление божественной воли. В ту зиму Блок бродил по Петербургу в поисках великой любви.

Реальный образ любимой девушки был им идеализирован и слился с соловьевским представлением о Вечной Женственности. Это проявилось в его произведениях, собранных потом в сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Такое слияние земного и божественного в любви к женщине не было изобретением поэта – и до него существовали трубадуры, Данте, Петрарка, немецкий романтик Новалис. Но только Блоку удалось действительно соединиться со своей возлюбленной – и на своем опыте понять, к какой трагедии это может привести.

Сама Любовь Дмитриевна, в отличие от своего идеализированного образа, была человеком трезвым и уравновешенным. Поговаривали даже, что она была хоть и красивой, но «слишком заурядной». Она так и осталась чужда мистике и отвлеченным рассуждениям и по своему складу характера была абсолютной противоположностью мятущемуся Блоку. Когда тот пытался привить ей свои понятия о «несказанном», могла хладнокровно заметить: «Пожалуйста, без мистики!» (О любимом слове поэта не могла умолчать и известная поэтесса, умная, едкая Зинаида Гиппуис: «Хотелось притянуть „несказанное“ за уши и поставить его на землю!») В общем, Блок оказался в досадном положении: Любовь Дмитриевна, та, кого он сделал героиней своей мифологии, отказывалась от предназначенной ей роли. Так продолжалось до ноября 1902 года.

В ночь с 7 на 8 ноября курсистки устраивали в зале Дворянского собрания благотворительный бал. Любовь Дмитриевна пришла с двумя подругами, в парижском голубом платье. Как только Блок появился в зале, он, не раздумывая, направился к тому месту, где она сидела. После бала он сделал ей предложение.

В Главном здании университета на Менделеевской линии и поныне располагается небольшая университетская церковь. Здесь обручился Александр Блок. Молодой поэт с детства жил в ректорском домике, а когда решил жениться, писал прошение на

имя ректора, своего дедушки: «Честь имею покорнейше просить ваше превосходительство о разрешении мне вступить в брак с Любовью Менделеевой. Студент второго курса историко-филологического факультета Александр Блок».

В январе 1904 года, через полгода после свадьбы, молодые супруги переехали в Москву. Всем они казались дружной парой. Однажды изящная юная дама и кудрявый молодой человек с «крепко стянутой талией» позвонили в дверь квартиры, где жил поэт Андрей Белый с матерью. Истинный петербуржец, светский, несколько заторможенный Блок был введен в гостиную, где, ненужно суетясь, подпрыгивая, весь изгибаясь, то вырастая, то на глазах уменьшаясь, их шумно приветствовал Белый. После целого года постоянной переписки, двух лет, в течение которых они обменивались стихами, поэты сразу же стали ближайшими друзьями, духовными «братьями». По старинному обычаю, они даже обменялись рубашками, и теперь Белый расхаживал в расшитой лебедями красивой сорочке, которую Любовь Дмитриевна вышила для мужа. Она же оказалась центром обоюдного внимания. В малейших ее поступках оба друга усматривали пророческий смысл. Была ли она сегодня в красном? Сменила ли прическу? Вообще, в Любовь Дмитриевну влюблялись все поэты, поддерживая культ Вечной Женственности и того образа, который Блок создал собственными стихами.

Андрей Белый отличался редкой непосредственностью. Просто и трезво он признавался в собственных грехах, осознавал свою главную слабость – неумение сказать «да» или «нет». А также торопился признаться Блоку в своих чувствах к Любови Дмитриевне. Атмосфера сгущалась. Гармония нарушилась, но дружба не распалась. Прошло лето. Перед отъездом Андрей Белый с бесконечными объяснениями изливал душу. Все, что мог посоветовать Блок, – поскорее покончить с влюбленностью. Так считала и Любовь Дмитриевна. Белый пообещал.

А Блоку уже было двадцать шесть лет. В его письмах, стихах, статьях сквозила постоянная тоска. Невзрачные шахматовские пейзажи, грязные перекрестки Петербурга служили щемящим фоном его новым стихам. В этом угаре он встретил другую женщину, Незнакомку, – на сей раз доступную, которую каждый мог видеть, прикасаться, любить. Блок не на шутку увлекся Натальей Волоховой, актрисой театра Мейерхольда. «Снежная маска» и «Фаина» – стихи, посвященные ей.

Блок вновь и вновь увлечен. О своих женщинах он откровенно, даже в чем-то по-детски, писал матери: «Мама… я провел необычайную ночь с очень красивой женщиной… Я же, после перипетий, очутился в 4 часа ночи в какой-то гостинице с этой

женщиной, а домой вернулся в девятом». С 1906 года Блок часто посещал «субботы» в театре Комиссаржевской, а Любовь Дмитриевна получила ангажемент, выступала с частью труппы в провинции. Блок написал «Балаганчик», свою первую пьесу, в которой Прекрасная Дама уже сделана из картона, а печальный Пьеро ждет свою Коломбину, которую отнимает у него Арлекин. Теперь Блок и Любовь Дмитриевна жили «каждый своей особой жизнью». Вечера встреч в их доме, однако, продолжались, но уже были лишены прежнего очарования. Блок часто оказывался рассеян, нередко пьян, посещения Белого его не радовали, семейная жизнь разладилась. Любовь Дмитриевна признавалась Белому, что «многое перенесла в предыдущем году, и что не знает сама, как уцелела». Блок же с горечью говорил о том, что «они перешли рубикон». Презирая старомодные условности, Любовь Дмитриевна и Наталья Волохова отлично ладили между собой, даже откровенно признавались, что они хорошие подруги. Провинциальному москвичу Белому это совершенно не нравилось, он считал, что Блок превратил свою жизнь в театр. Белый и Блок часто ссорились, 1906 – 1907 годы – время постоянных разладов и примирений, Белый однажды даже вызвал друга на дуэль, затем потребовал объяснений, чтобы простить и получить прощение.

Озерки… Озерки – один из исторических районов Петербурга и поныне, сейчас весьма благоустроенный, с одноименной станцией метро. Но в начале XX века в этом месте располагался лишь скромный дачный поселок, где не было даже железнодорожной станции. А между тем именно здесь часто прогуливался Александр Блок. Из письма поэта, написанного летом 1911 года: «Вдруг увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовал, что здесь – судьба… – я остался в Озерках. И действительно, они пели, бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала мне поцеловать руку – смуглую, с длинными пальцами – всю в броне из колючих колец. Потом я шатался на улице, приплелся мокрый в „Аквариум“, куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой».

И гортанные звуки
Понеслись,
Словно в серебре смуглые руки
Обвились…
Бред безумья и страсти,
Бред любви…
Невозможное счастье!

На! Лови!

В России век девятнадцатый стал веком трагических судеб, а двадцатый – веком самоубийств и преждевременных смертей. Нет среди русских поэтов спокойных лиц. Кто умер от разрыва сердца, кто от пули. Кондратий Рылеев был повешен. На пороге смерти в семидесятилетнем возрасте Афанасий Фет пытался распороть себе живот. Аполлон Григорьев погиб от нищеты и пьянства. По словам Нины Берберовы, «пьянство Блока разительно отличалось от григорьевского. Григорьев пил горькую, чтобы забыть свою бедность. У Блока же голова всегда оставалась ясной. Его разрушало не вино, а отчаяние. В его стихах, письмах, статьях, дневниках и даже фотографиях сквозит постоянно нарастающая, смертная, неотступная тоска, словно все двадцать четыре года его жизни были постоянным душевным надрывом. Смолк его смех, исчезла и улыбка».

Символизм, как и другие направления в поэзии и литературе начала XX века, создавал новую модель жизни и культуры, но «парадокс заключался в том, что эта же культура свидетельствовала о погружении века во тьму». Поэты страдали, ощущая гибель, при этом принимали гибель, как и трагическое ощущение себя «последними в ряду». По словам Блока, «был человек – и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка». Возможно, это объяснялось и тем, о чем Анна Ахматова написала в стихах 1911 года «Я пришла сюда, бездельница…». «Тайномудрое безделье», грандиозное метафизическое безделье – обратная сторона поэзии. Впрочем, разве не является подобное признание себя поэтами отчаянным криком о себе самих, самоотверженно принесших себя в жертву своему искусству? Задача, которая ставилась символистами, грандиозна по своим масштабам – не только привнести новое направление в стихосложении, а изобрести систему символов, которая бы воссоздавала действительность не словами, а мифами, обращалась к религии, искала смыслы в иных сферах.

Любовь Дмитриевна все больше времени проводила на гастролях. В редкие свободные дни она приезжала в Петербург, где ее ждал муж. Он готовился, покупал цветы, «наводил порядок в своей душе». Его жена появлялась оживленная, до ночи они болтали, весело ужинали. Но иногда он ждал напрасно. «В моей жизни все время происходит что-то бесконечно тяжелое. Люба опять обманывает меня», – писал в этом время Блок. В годы ее отсутствия он часто бывал в Театре музыкальной драмы. Здесь он познакомился с Любовью Дельмас. Высокая, худощавая, с рыжими волосами, зелеными глазами, необыкновенной осанкой. Блок влюбился в нее с первого взгляда, посвятил певице «Кармен» –

одну из частей третьей книги стихотворений. Эта любовь была непохожа на прежние увлечения Блока. Если с Натальей Волоховой – цыгане, безумства, музыка, разрыв (они разошлись даже не попрощавшись), то теперь вместо безумных страстей – преданная дружба, мирные прогулки, тихие вечера.

В июле 1916 года Блока призвали в армию. Километрах в десяти от фронта он командовал подразделением саперов. Затем – революция. Любовь Дмитриевна была с ним, но он по-прежнему чувствовал себя все более потерянным, стареющим. А женщины восхищались им по-прежнему. Дельмас навещала его, приятельницы, незнакомые дамы писали письма. Каждую ночь странные женские тени маячили под окнами. Но они уже мало его интересовали. «Л. Дельмас прислала Любе письмо и муку́, по случаю моих завтрашних именин. Да, личная жизнь превратилась уже в одно унижение, и это заметно, как только прерывается работа», – писал Блок.

В эпоху разрухи и смерти он в чем-то остался самим собой. По словам современников, он заставил себя услышать даже «музыку революции», а его новой дамой сердца стала уже Россия. В поэме «Двенадцать» Блок со странным рвением описывает не только солдат (которые в то время действительно маршировали по улицам, крушили, убивали, насиловали), а «ставит впереди них» все тот же «женственный призрак» – Иисуса Христа. «В белом венчике из роз – впереди – Исус Христос», – заканчивается поэма. Зинаида Гиппиус, со свойственной ей проницательностью, считала, что Блок «даже не понимал кощунства своей поэмы», «ему даже нельзя было поставить это в вину». Многие современники были настолько возмущены революционной лирикой Блока, что перестали с ним здороваться. Увидев Зинаиду Гиппиус в трамвае, Блок спросил: «Подадите ли вы мне руку?» «Лично – да. Только лично. Не общественно», – ответила она.

Были и другие мнения насчет поэмы. Борис Зайцев, например, писал:

«Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только „в белом венчике из роз“, но и с „кровавым флагом“ – есть некоторое „да“. Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет – хоть и слепых – какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение „малых сих“ – и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им „да“ и „да“ их делу. Чем не мысль и чем не тема для поэмы?»

Владислав Ходасевич вспоминал, как Блок присутствовал на

одном из вечеров, в «Доме литераторов», где устроили чествования в память Пушкина. Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать Пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности – заведующий так называемым академическим центром. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и произнес следующее: «Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти». По залу пробежал смех. Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой. Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. Ходасевич вспоминал, что на нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротничком. Весь жилистый и сухой, с обветренным красноватым лицом он был похож на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Повернув голову в сторону Кристи, Блок отчеканил: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня». Побелевший Кристи ерзал на стуле, а перед уходом громко сказал: «Не ожидал я от Блока такой бестактности». По мнению же Ходасевича, «в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти покаянием. Автор „Двенадцати“ завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие – свободу, хотя бы „тайную“. И пока он говорил, чувствовалось, как рушится стена между ним и залом. В овациях, которые его провожали, была просветленная радость, которая всегда сопутствовала примирению с любимым человеком».

В своей пушкинской речи, ровно за полгода до смерти, Блок говорил: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и воля тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. И поэт умирает, потому что дышать ему больше нечем: жизнь потеряла смысл».

Блок был исключительно правдив, говорили даже, что от него «несло правдой». Окружающая жизнь была для него, по словам современников, недосказана, не закончена, непонятна. Возможно, именно поэтому он изобрел свой собственный язык, смысл которого не в словах, а «между словами или около них».

Александр Блок пользовался огромным уважением и влиянием у поэтов-современников. Сергей Есенин просил его рекомендаций в литературный мир, Георгий Иванов постоянно одалживал деньги, многие останавливался в его доме. Русские поэты боготворили его творчество.

Последние годы жизни Блока были страшными. Он тяжело

болел. Как говорили современники, казалось, что ему «не хватало воздуха». Как будто после «Двенадцати» наступила тьма и пустота. В одно из выступлений (в коммунистическом Доме печати) ему прямо кричали: «Мертвец! Мертвец!» – после чего он прожил уже недолго. В августе 1921 года на Никитской, в окне Лавки писателей, появился траурный плакат: «Скончался Александр Александрович Блок. Всероссийский Союз писателей приглашает на панихиду в церкви Николы на Песках, к 2.30 часа дня». По словам Бориса Зайцева, «этот плакат глядел на юг, на солнце. На него с улицы печально взирали барышни московские». По иронии судьбы, вернее, по божественному умыслу, наверное, имя Блока связано с самым светлым, чистым, красивым в русской поэзии. Его образ так и остался странной, загадочной, трагической тенью, какими и были его стихи.

Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке,
Одно-единственное движенье губ,
Имя твое – пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту,
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.
Имя твое – ах, нельзя! —
Имя твое – поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое – поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим – сон глубок.
Марина Цветаева

Андрей Белый 1880 – 1934 «Не осуди мое молчанье»

В годы эмиграции Зинаида Гиппиус вспоминала: «Удивительное это было существо, Боря Бугаев! Вечное „игранье мальчика“, скошенные глаза, танцующая походка, бурный водопад слов, на все „да-да-да“, но вечное вранье и постоянная измена. Очень при этом симпатичен и мил, надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться. Прибавлю, чтобы дорисовать его, что он обладал громадной эрудицией, которой пользовался довольно нелепо. Слово „талант“ к нему как-то мало приложимо. Но в неимоверной куче его бесконечных писаний есть кое-где проблески гениальности».

Борис Николаевич Бугаев (псевдоним Андрей Белый) – русский писатель, поэт, критик, филолог, философ, теоретик символизма. Родился в Москве в «профессорской» семье 14 (26) октября 1880 года. Отец Бугаева – выдающийся математик, в 1886 – 1891 годах декан физико-математического факультета Московского университета, основатель Московской математической школы, предвосхитивший многие идеи Константина Циолковского и русских «космистов». Мать занималась музыкой и пыталась противопоставить художественное влияние «рационализму» отца. Суть этого родительского конфликта постоянно воспроизводилась Белым в его позднейших произведениях.

Профессор Бугаев в ту пору говаривал: «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня». За этими шутливыми словами скрывалась нешуточная семейная драма. Профессор был не только чудаковат, но и очень некрасив. Однажды на каком-то концерте (уже в начале 1900-х годов) Надежда Брюсова, сестра поэта, толкнув локтем Андрея Белого, спросила его: «Смотрите, какой человек! Вы не знаете, кто эта обезьяна?» «Это мой папа», – ответил он с тою любезнейшей, широчайшей улыбкой совершенного удовольствия, чуть не счастья, которою он любил отвечать на неприятные вопросы. Мать же Андрея Белого была очень хороша собой. На одном из чествований Тургенева, по воспоминаниям Владислава Ходасевича, «возле знаменитого писателя посадили московских красавиц: Екатерину Леткову и Александру Бугаеву. Они сидят рядом и на известной картине К. Е. Маковского „Боярская свадьба“, где с Александры Дмитриевны писана сама молодая, а с Екатерины Павловны – одна из дружек».

Андрей Белый боялся отца и втайне его ненавидел (недаром потенциальные или действительные преступления против отца составляют фабульную основу многих его произведений). Мать же он жалел и восторгался ею почти до чувственного восторга. Но чувства эти, сохраняя всю остроту, с годами осложнялись и вступали в противоречия с противоположными. Ненависть к отцу, смешанная с почтением к его уму, с благоговейным изумлением перед космическими пространствами и математическими абстракциями, которые вдруг через него раскрывались сыну, оборачивалась любовью. Влюбленность же в мать уживалась с нелестным представлением об ее уме.

По меткому замечанию Ходасевича, «каждое явление, попадая в семью Бугаевых, подвергалось противоположным оценкам со стороны отца и со стороны матери. Что принималось и одобрялось отцом, то отвергалось и осуждалось матерью – и наоборот».

Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято думать. «Тактика у него, – вспоминал Ходасевич, – была всегда одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающем всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и, если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. Обратно: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя осквернённым и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед „падением“ ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, – но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили».

Андрей Белый играл в своей жизни ангела – белокурый, восторженный, голубоглазый и очень обаятельный настолько, что это можно было бы считать пороком. Но современники вспоминали, что все в его присутствии буквально озарялось. Молодая поэтесса Нина Петровская не могла его не заметить, как не мог не заметить эту яркую страстную женщину и Андрей Белый. Спустя несколько недель после знакомства любители поэзии обратили внимание на… грудь Нины. Там красовался тяжелый черный крест, висящий на деревянных четках. Такой же крест носил и Андрей Белый. «Нина, вы забираете у нас светлого гения! Вы слишком земная! – кричали ей в ухо мистически настроенные доброжелатели. – Оставьте Белого в покое!»

Андрей Белый не выдержал первым и просто перестал

общаться. Ходасевич вспоминал, как Нина Петровская пострадала за то, что просто стала его возлюбленной. После разрыва она, как настоящая женщина, пыталась привлечь внимание других мужчин, и небезуспешно. Впрочем, ведомая яростным желанием отомстить «ангелоподобному», результатов она не добилась. Поэт не был склонен к ревности и совершенно не собирался идти против общественного мнения.

Через какое-то время после разрыва Андрей Белый в Политехническом музее читал лекцию по литературе. Стройный, вдохновленный, он стоял за кафедрой и вещал о самой страстной своей любви – символизме. Нина тихо открыла дверь в аудиторию, мягко и незаметно, как кошка, подошла к нему вплотную. Поэт увидел перед собой три расширенных зрачка. Два принадлежали огромным глазам его бывшей любовницы, а третий – направленному на него дулу револьвера. Нина выстрелила. Револьвер дал осечку. Впоследствии Петровская печально говорила своему другу и поэту Владиславу Ходасевичу: «Бог с ним. Ведь, по правде, я уже убила его тогда, в музее».

В 1904 году Андрей Белый познакомился с молодым поэтом Александром Блоком. Их личные и литературные судьбы оказались связаны навсегда. Александр Блок приехал в Москву с молодой женой Любовью Менделеевой, знакомой некоторым московским мистикам и уже окруженной их восторженным поклонением, в котором придавленный эротизм бурлил под соблазнительным и отчасти лицемерным покровом мистического служения Прекрасной Даме. Андрей Белый тотчас поддался общему настроению, и жена нового друга стала предметом его пристального внимания. Этому вниманию мистики покровительствовали и только раздували его. Впрочем, не нужно было и раздувать – внимание превратилось в любовь, которая, в сущности, и дала толчок к разрыву с Ниной Петровской.

Братские чувства, первоначально предложенные Андреем Белым, были приняты Любовью Менделеевой благосклонно. Тот, некогда иронизировавший по поводу женитьбы Александра Блока, теперь почти неприкрыто отождествлял Любовь Дмитриевну с Вечной Женственностью. «Вот она сидит с милой и ясной улыбкой, как будто в ней и нет ничего таинственного, как будто не ее касаются великие прозрения поэтов и мистиков», – писал он в статье «Апокалипсис в русской поэзии».

Но когда Андрей Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам иногда оттенка, задача его весьма затруднилась. Быть может, она оказалась бы вовсе неразрешимой, если бы не его ослепительное обаяние, которому, кажется, нельзя было не поддаться.

Их страстные отношения продолжались два года, в 1906 году Александр Блок отразил их в своей знаменитой пьесе «Балаганчик». А вот как писала о взаимоотношениях этого треугольника Нина Берберова:

«1906 – 1907 год. Бесконечная, запутанная череда ссор и примирений между Блоком и Белым. Встречи – почти всегда по настоянию Белого – были тягостными. Блок вполне владел собой: холодный, вежливый, никогда не пытаясь уязвить, он слегка высокомерным тоном говорит любезности. Белый – нервный, задыхающийся, пылавший то любовью, то ненавистью, – вызывает его на дуэль, затем требует объяснений, чтобы простить или получить прощение. Он осознает свою полную ненужность в жизни Блока и временами становится совершенно несносным, навязывая свое присутствие; Блок терпит его из жалости, сочувствуя гению, который так и не сумел осуществиться, к тому же его обезоруживает искренность Белого, который винит себя во всех грехах, готов признать любую вину, никогда не упоминая о своих многочисленных достоинствах и заслугах».

Александр Блок соглашался на эти встречи, но сам их не искал. Однажды Андрей Белый назначил ему свидание в ресторане. Тот пришел вместе с Любовью Дмитриевной. Андрей Белый был в восторге, все еще может получиться! Но через несколько дней обстановка опять накалилась. На Невском проспекте Александр Блок, погруженный в свои мысли, надменный, непроницаемый, прошел мимо, не заметив Андрея Белого. На того это подействовало как «удар по сердцу»! «Вместо души у Александра Александровича разглядел я дыру», – писал он в своих воспоминаниях. Ему хотелось навсегда бежать в Москву, и он потребовал у Любови Дмитриевны объяснений, но та лишь посмеялась над его трагическим видом.

Андрей Белый тогда так и не решился уехать. Вместо этого он начал с Александром Блоком литературную борьбу. В Москве, в брюсовских альманахах, он яростно критиковал нового Блока, но тот в ответ лишь невозмутимо улыбался.

С удивительной откровенностью в своих воспоминаниях Андрей Белый рассказывал, как всеми силами пытался развести Любовь Дмитриевну с мужем. По мнению Нины Берберовой, он перепробовал все, чтобы добиться громкого и окончательного разрыва. Но ни интриги, ни нападки, ни дерзкие письма не приносили результата. Расставшись со своей мечтой, подавленный и покинутый, Андрей Белый наконец-то отправился за границу.

Существует, правда, и другая версия событий, данная Владиславом Ходасевичем. Когда домогательства Андрея Белого

были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, неизбывная двойственностью поэта, как всегда, прорвалась наружу. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли, – и то же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала пред тем, как ответить ему согласием. Следствие отступления нетрудно себе представить. Любовью Дмитриевной овладели гнев и презрение, и она отплатила Андрею Белому, по словам Ходасевича, «стократ обиднее и больнее, чем Нина Петровская». Но тот именно и славился тем, что любил противоречия. С этого-то момента он и полюбил Любовь Дмитриевну по-настоящему, всем существом и навсегда.

За границей Андрей Белый прожил больше двух лет, за которые он создал два сборника стихов, посвященных Блоку и Менделеевой. Вернувшись в Россию, в апреле 1909 года поэт сблизился с Анной Алексеевной Тургеневой, известной как Ася. Вместе с ней в 1911 году совершил ряд путешествий по Ближнему Востоку и Северной Африке, описанных в «Путевых заметках». В 1912-м в Берлине они познакомились с Рудольфом Штейнером, основателем антропософии. Андрей Белый стал его учеником и без оглядки отдался своему ученичеству. Фактически отойдя от прежнего круга писателей, он теперь работал над прозой. Все друзья и почитатели его таланта боялись, что он теряет свою самобытность как художник, что пропадет своеобразность его красок и яркость его языка. Все это причиняло ему лишние страдания и заставляло тратить силы, чтобы доказывать обратное. Когда разразилась война 1914 года, Штейнер со своими учениками перебрались в Швейцарию, в городок Дорнах. 23 марта 1914 года в Берне между Борисом Бугаевым и Анной Тургеневой был заключен гражданский брак.

В 1916 году Андрей Белый, призванный на военную службу, кружным путем через Францию, Англию, Норвегию и Швецию прибыл в Россию. Но Ася с ним не последовала. Свое отношение к этому и состояние он отразил в стихотворении:

Асе
При прощании с ней
Лазурь бледна: глядятся в тень
Громадин каменные лики:
Из темной ночи в белый день
Сверкнут стремительные пики.
За часом час, за днями дни
Соединяют нас навеки:
Блестят очей твоих огни
В полуопущенные веки.

Последний, верный, вечный друг,
—
Не осуди мое молчанье;
В нем – грусть: стыдливый в нем испуг,
Любви невыразимой знанье.
Август 1916, Дорнах

Повторный отъезд Андрея Белого за границу не был спланирован, хоть он и подумывал об этом уже с 1919 года. Поговаривали, что поэт собирался бежать, и его даже иногда спрашивали: «Скоро ли вы сбежите?!» Ходасевич считал, что Андрей Белый давно хотел уехать, но большевики его не отпускали и лишь после смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва ему в срочном порядке выдали заграничный паспорт.

Андрей Белый покинул Россию в начале сентября 1921 года. Он встретился с Асей, та предложила ему разойтись. Она решила навсегда расстаться с мужем и осталась жить в Дорнахе, посвятив себя служению делу Рудольфа Штейнера. Ее называли «антропософской монахиней». Будучи талантливой художницей, Ася сумела сохранить особый стиль иллюстраций, которыми пополнились все антропософские издания. Андрей Белый же остался совершенно один. Он посвятил Асе большое количество стихов. Ее образ можно узнать в Кате из «Серебряного голубя».

Жизнь в эмиграции не удавалась. Как вспоминал Владислав Ходасевич: «…весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, ей радовались, над ней насмехались слишком многие. Скажу о ней покороче. Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen [1] . Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил он свои „вариации“ – искаженный отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мимодраму, порой даже и непристойную. Он приглашал незнакомых дам. Те, которые были посмелее, шли, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались – в Берлине это почти оскорбление. Третьим запрещали мужья и отцы. То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому». Перед возвращением на родину Андрей Белый пребывал в состоянии полной невменяемости. Впрочем, по словам того же Ходасевича, это во

многом диктовалось и хитростью, свойственной поэту. Боясь, что близость с эмигрантами и полуэмигрантами может быть поставлена ему в вину, он стал рвать заграничные связи. Прогнал одну девушку, которой был многим обязан. Возводил бессмысленные поклепы на своего издателя. Искал ссор и добивался их… Вернувшись в Россию в октябре 1923 года, Андрей Белый женился на Клавдии Николаевне Васильевой. Он не испытывал любовных чувств, однако держался за нее, словно за спасительницу. Тихая, покорная, заботливая Клодя, как называл ее писатель, стала 18 июля 1931 года супругой Андрея Белого. Он умер у нее на руках 8 января 1934 года в Москве.

Валерий Брюсов 1873 – 1924 «И снова ты»

Валерий Брюсов был воплощением демона в литературе и в жизни, но выглядел совершенно иначе. Владислав Ходасевич вспоминал, что впервые увидел Брюсова, когда тому было двадцать четыре года, а ему самому – одиннадцать: «Его вид поколебал мое представление о „декадентах“. Вместо голого лохмача с лиловыми волосами и зеленым носом (таковы были „декаденты“ по фельетонам „Новостей Дня“) – увидел я скромного молодого человека с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычнейшего покроя, в бумажном воротничке. Такие молодые люди торговали галантерейным товаром на Сретенке. Этакая смесь „декадентской экзотики с простодушнейшим мещанством“».

Родился Валерий Брюсов 1 (13) 1873 года в Москве. Жил на Цветном бульваре. В фамильном доме была у него собственная квартира, где он располагался с женой, Иоанной Матвеевной, и со свояченицей, Брониславой Рунт. Небольшой кабинет был заставлен книжными полками. Чрезвычайно внимательный к посетителям, сам не куривший в ту пору, Брюсов всегда держал на письменном столе спички. Впрочем, на всякий случай, в предупреждение рассеянности гостей, металлическая спичечница была привязана на веревочке! В этой квартире происходили знаменитые «среды», на которых творились судьбы если не всероссийского, то, во всяком случае, московского модернизма! При этом на этих собраниях разбирать стихи самого Брюсова было не принято. Они должны были приниматься как заповеди!

Чувство равенства Брюсову было совершенно чуждо. По меткому замечанию Ходасевича, на это повлияла мещанская среда, из которой поэт происходил: «Мещанин не в пример легче гнет спину, чем, например, аристократ или рабочий. За то и желание при случае унизить другого обуревает счастливого мещанина сильнее, чем рабочего или аристократа. Брюсов умел или командовать, или подчиняться». У поэта даже была примечательная манера подавать руку. Она производила странное действие. Брюсов протягивал человеку руку. Тот протягивал свою. В ту секунду, когда руки должны были соприкоснуться, Брюсов стремительно отдергивал свою назад, собирал пальцы в кулак и кулак прижимал к своему правому плечу, а сам, чуть-чуть скаля зубы, впивался глазами в повисшую в воздухе руку знакомого. Он не любил людей, потому что,

прежде всего, не уважал их. Единственная женщина, к которой он действительно хорошо относился, была Зинаида Гиппиус.

В начале 1900-х Брюсов увлекался оккультизмом, спиритизмом и черной магией. Именно в это время он встретил Нину Петровскую, будущую любовницу Андрея Белого. Она не была хороша собой, но в 1903 году она была молода – и этого оказалось достаточно. Нина Петровская, по словам Ходасевича, «была истеричкой, и это, быть может, особенно привлекало Брюсова». Но то, что для нее стало средоточием жизни, для Брюсова было очередной серией «мигов». В своей книге «Некрополь» Владислав Ходасевич точно определил атмосферу эпохи того времени: «Любовь открывала для символиста или декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. Достаточно было быть влюбленным – и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости: Страстью, Отчаянием, Ликованием, Безумием, Пороком, Грехом, Ненавистью… Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували из всех сил». Потому Брюсов и влюбился в Петровскую: отказаться было невозможно, так как надо было «начать переживать».

Когда все эмоции из данного увлечения были извлечены, Брюсов начал писать «Огненного Ангела», книгу, в которой он, с известной условностью, изобразил всю их историю. В романе он разрубил все узлы отношений между героями, но со смертью главной героини чувства реального человека, Нины, вовсе не иссякли. Брюсов же все чаще занимался литературными делами и заседаниями, к тому же его тянуло к домашнему очагу, ведь он был женат. Нина несколько раз пыталась прибегнуть к испытанному средству многих женщин – пробовала удержать Брюсова возбуждая ревность. Однако все было напрасно. Брюсов охладел. Она тщетно прибегала к картам, потом к вину. Наконец, в 1908 году она испробовала морфий. Затем сделала морфинистом Брюсова, и это была ее настоящая, хотя и неосознанная месть. Осенью 1909 году она чуть не умерла, а затем отправилась, как было решено, за границу, «в ссылку». Первую мировую войну Петровская пережила в Риме, в ужасающей нищете. Брюсова же она возненавидела.

В какой-то момент в жизнь Петровской вошел Андрей Белый. Тогда он был очень молод, золотокудр, голубоглаз и обаятелен. Им восхищались все, в него влюблялись, и поговаривали даже, что люди словно менялись в его присутствии. Общее восхищение, разумеется, передалось и Нине Петровской, вскоре чувство

перешло во влюбленность, а потом – в любовь. Но если для Брюсова Петровская была источником переживаний, то Андрея Белого она «должна была любить во имя его мистического призвания», в которое они оба заставляли себя верить. Нина даже носила черную нить деревянных четок и большой черный крест на черном платье. Такой же крест носил и Андрей Белый.

Но ее новый избранник славился тем, что любил «чисто». Поэтому он не разлюбил, а просто «бежал от соблазна», дабы слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Нина Петровская же ощутила себя брошенной и оскорбленной. Весной 1905 года в маленькой аудитории Политехнического музея Андрей Белый читал лекцию. Нина Петровская подошла к нему и выстрелила из браунинга в упор. Револьвер дал осечку, и его тут же выхватили из рук.

Нина Берберова вспоминала, как впервые увидела Петровскую: «…с темным, в бородавках лицом, коротким и широким телом, грубыми руками, одетая в длинное шумящее платье с вырезом, в огромной черной шляпе со страусовым пером и букетом черных вишен, показалась очень старой и старомодной… Рената „Огненного Ангела“, любовь Брюсова, подруга Белого – нет, не такой воображала я ее себе… Когда она поцеловала меня, я почувствовала идущий от нее запах табака и водки. Она относилась ко мне с любопытством, словно хотела сказать: и бывают же на свете люди, которые живут себе так, как если бы ничего не было: ни Брюсова, ни 1911 года, ни стрельбы друг в друга, ни средневековых ведьм, ни мартелевского коньяка, в котором он когда-то с ней купал свое отчаяние, ни всей их декадентской саги. Из этого один только коньяк был сейчас доступен, но я отказывалась пить с ней коньяк, я не умела этого делать. Она приходила часто, сидела долго, пила и курила и все говорила о нем. Но Брюсов на письмо ей не ответил».

Роман с Ниной Петровской был мучителен для обоих, но стороною особенно страдающей оказалась Нина. Закончив «Огненного Ангела», Брюсов посвятил ей книгу и в посвящении назвал ее «много любившей и от любви погибшей», сам же он, однако, погибать не хотел. Первый роман сверкнул и погас, оставив в ее душе неприятный осадок.

Брюсов же в 1913 году увлекся вновь. На этот раз его пассией стала начинающая поэтесса Надежда Львова, московская курсистка. Разница в возрасте между ними была велика. Брюсов молодился, искал общества молодых поэтов, написал книгу в духе Игоря Северянина и посвятил ее Наде. Но до некоторой степени с ней повторилась история Нины Петровской. Львова не могла примириться с раздвоенностью жизни Брюсова и с тем, что

он был женат. Брюсов же систематически приучал ее к мысли о смерти и самоубийстве, а потом даже подарил браунинг – тот самый, из которого восемь лет назад Нина стреляла в Андрея Белого. В конце ноября вечером Львова позвонила Брюсову и просила приехать. Он отказался. Она попробовала позвонить еще нескольким людям, но все по какой-то причине были заняты. В 11 часов вечера она застрелилась. Брюсов же на другой день после похорон бежал в Петербург, а затем в Ригу, где вскоре уже завел новый роман.

Владислав Ходасевич, написавший самую яркую, хоть и короткую статью-биографию о Брюсове, заканчивает ее приводя очень меткие, емкие факты последних дней жизни поэта, как будто пытаясь его оправдать:

«Одинокий, измученный, обрел он, однако, и неожиданно радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой нагруженный сластями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу… Прочитав известие о смерти Брюсова, я думал, что он покончил с собой. Быть может, в конце концов, так и было бы, если бы смерть сама не предупредила его».

Владислав Ходасевич 1886 – 1939 «Мной совершенное так мало!»

Он был человек больной, раздражительный, желчный, – писала Анна Ходасевич, его вторая жена. – Смеялся он редко, но улыбка часто бродила по его лицу, порой ироническая. По существу, он не был злым человеком, но злые слова часто срывались с его губ. Он даже порой был сентиментален, даже мог заплакать над происшествием малозначительным. С людьми он умел быть приятным – он, как умный и тонкий человек, понимал, кому что было интересно, и на этом играл, хвалясь, что каждого человека знает насквозь и даже на три аршина вглубь под землею. Его талантливость сказывалась во всем: в умении очаровывать людей, в чтении стихов, в умении при большой бедности быть всегда прилично одетым и т. д. Но все же, благодаря своей болезненности, он часто ссорился с людьми. За границей он поссорился с Андреем Белым, со своей сестрой, с ее мужем и даже с редактором газеты „Возрождение“, которая в тот момент являлась источником его материального существования».

По словам Юрия Мандельштама, «на людях Ходасевич часто бывал сдержан, суховат. Любил отмалчиваться, отшучиваться. По собственному признанию – „на трагические разговоры научился молчать и шутить“. Эти шутки его обычно без улыбки. Зато, когда он улыбался, улыбка заражала. Под очками „серьезного литератора“ загорались в глазах лукавые огоньки напроказничавшего мальчишки. Тогда казалось, что собеседник с ним в заговоре – вдвоем против всех остальных».

Владислав Ходасевич родился в Москве в 16 (28) мая 1886 года. Его отец был из обедневших литовских дворян, мать – из еврейской семьи, но крещенная в католичестве и воспитанная же в католическом пансионе.

Окончив гимназию, Ходасевич поступил в 1904 году в Московский университет на юридический факультет. В восемнадцать лет он женился на Марине Рындиной, девушке из очень богатой семьи. Марина была блондинка, высокого роста, красивая и большая выдумщица. Одной из ее причуд была манера одеваться только в платья белого или черного цвета. Она обожала животных и была хорошей наездницей. Владислав рассказывал, что однажды, когда они ехали на рождественские каникулы в имение Марины, расположенное близ станции Бологое, она взяла с собой в купе собаку, кошку, обезьяну, ужа и попугая.

Позже Марина появлялась в «Московском литературно-

художественном кружке». Одетая в черное или белое платье, с высокой прической, на которую она надевала золотой раздвижной браслет – бирюза с жемчугом, – она напоминала сказочную царевну. Хороша она была и днем, когда ехала по Кузнецкому мосту на своих лошадях, откинувшись в коляске на бархатные подушки. О ее душевных качествах Ходасевич писал мало. Их любовь была запечатлена им в его первой книге стихов «Молодость», вышедшей в 1905 году. Ходасевич в те годы был большим франтом: студенческий мундир с воротником, подступающим к самым ушам, лакированные туфли, перчатки… Нередко его видели и в «Литературном кружке» за карточным столом, где играли в «железку». Он всегда был худой и бледный. Азартная игра в карты чередовалась с творческой работой, общением с Брюсовым, с Андреем Белым, Эллисом, с Ниной Петровской, Сергеем Соколовым, который в то время издавал журнал «Перевал».

Когда Ходасевич по издательским делам поехал в Петербург, Марина сошлась с Сергеем Константиновичем Маковским – поэтом и издателем «Аполлона», с которым впоследствии уехала в эмиграцию. Разъехавшись с Мариной, Владислав поселился в меблированных комнатах «Балчуг», где жил и работал уже в более скромной обстановке.

В то время у писателя Бориса Зайцева часто бывали вечеринки, на которых молодые писатели и поэты читали свои новые произведения. Там Анна Чулкова услышала впервые стихи Ходасевича, которые ее совершенно пленили. В то время она была замужем за Александром Брюсовым (братом поэта Валерия Брюсова). Познакомившись с Ходасевичем, она настаивала, чтобы он возобновил прежние приятельские отношения с ее мужем. Тот стал у них часто бывать, гостил на даче, совместно переводил с Брюсовым какой-то испанский роман, они писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии, акростихи и тому подобные вещи. Анна очень подружилась с Ходасевичем, Владей, как она его называла. Он делился с ней новыми стихами, душевными и любовными переживаниями. В то время он был влюблен в Евгению Муратову (жену искусствоведа Павла Павловича Муратова) и очень огорчался ее не вполне серьезным отношением к его любви. Рассказывал, что часто по вечерам бродил по улицам Москвы с Евгенией Муратовой, иногда они забегали в маленькие ресторанчики или кафе, а иногда под утро заходили в церковь, где Ходасевич покупал просвирки. В те времена многие писатели и поэты посещали церковь. В Страстную субботу в Кремле в церкви Нечаянной Радости можно было встретить и Ивана Бунина, и Андрея Белого, и Бориса Грифцова, и многих других

писателей и художников того времени.

Физически Ходасевич чувствовал себя плохо. Как-то, заработав небольшую сумму денег, в 1910 году он решил поехать в Венецию, где в то время была Евгения Муратова и еще много знакомых. Он кашлял, был очень бледен и нервничал. Анна с мужем провожали его на вокзал, и она плакала, думая, что он не вернется живым. Ходасевич пробыл в Венеции дольше, чем предполагал, так как сумел найти себе работу: проводил экскурсии по музеям, галереям и церквам, что дало ему возможность подольше пожить за границей.

Их встреча с Муратовой в Венеции была печальной: они там расстались. Он вернулся в Москву слегка поправившимся и привез много новых стихов.

Однажды Ходасевич пришел к Анне совершенно потрясенный горем: его мать ехала на извозчике по Тверской улице, лошадь чего-то испугалась, понесла, пролетка зацепилась колесом за тумбу, и мать, падая, ударилась об эту тумбу головой и тут же умерла. Вскоре отец, страдавший грудной жабой и потрясенный смертью жены, тоже скончался. Ходасевич очень любил своих родителей, эта двойная смерть очень тяжело сказалась на нем.

Анна ушла от Александра Брюсова, и началась их совместная жизнь. В то время Ходасевич работал в издательстве «Польза», которое выпускало маленькие общедоступные книжки в желтой обложке ценою в 20 – 40 копеек. Для этого издательства он переводил с польского Мицкевича, Реймонта, Пшибышевского и других писателей. Влюбленные жили стесненно, в одной комнате, что, по тем временам, считалось бедностью.

Однажды пришел швейцар и сообщил, что звонил Валерий Брюсов и просил предупредить, что приедет вечером. Так и случилось. За чаем «в милой беседе» Брюсов вдруг попросил, чтобы Ходасевич взял под свое «семейное покровительство» молодую поэтессу Надежду Львову, его любовницу. Анна рассказывала: «Мы все встретились, и произошло знакомство. Надя Львова произвела на меня приятное впечатление, и мы быстро подружились. Львова была очень молода – лет 19 – 20. Стихи ее были явно под влиянием Брюсова и носили немного истерический характер. В скором времени у нее вышла книга стихов под названием „Старая сказка“».

Так и продолжалась. Частые посещения «Литературного кружка», в большинстве случаев «четверги», вечера «свободной эстетики», где главенствовал Валерий Брюсов. Читались стихи и проза авторами с определенным уклоном к символизму. Там бывали Андрей Белый, Юргис Балтрушайтис, София Парнок, Константин Бальмонт, Нина Петровская, Борис Садовской,

Марина Цветаева… Бывали и на «средах», где происходило чтение (большей частью) прозаических произведений с реалистическим направлением. Выступали Иван Бунин, Леонид Андреев, Александр Куприн.

Ходасевич писал стихи очень быстро, а вынашивал их иногда годами. Бывали случаи, по воспоминаниям Анны, «когда мы шли по улице и Владя меня останавливал и, вырвав из записной книжки листок, писал на моей спине пришедшую в этот момент строчку. А иногда ночью он будил меня и просил встать и записать несколько строк».

Потом началась Первая мировая война. В 1914 году Ходасевич был призван, но получил «белый билет» по состоянию здоровья; через полгода – опять «белый билет», через несколько месяцев – опять, а в четвертый раз его признали «годным». Он растерялся и не знал, что предпринять. Обратился к Максиму Горькому с просьбой разобраться – тот помог. Больной туберкулезом позвоночника, Ходасевич провел лето 1916 и лето 1917 годов в Коктебеле у Макса Волошина.

Трогательные воспоминания Анны заканчиваются строками о том, что Ходасевич в 1915 году подарил ей «толстую тетрадь в темно-красном кожаном переплете», в которой написал стихи. С его легкой руки, Анне отныне стали писать и другие поэты и художники (около ста автографов Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Герберта Уэллса, Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Осипа Мандельштама, Мариэтты Шагинян, Софии Парнок и многих других). В числе многих других были и стихи Нины Берберовой, из коих Анна запомнила только одну строчку: «Я такая косоглазая – сразу на двоих гляжу».

Знакомство с Ниной Берберовой в конце 1921 года перевернуло жизнь Ходасевича. Анна понимала, что он очень увлечен, но не могла в это до конца поверить, так как за одиннадцать лет их совместной жизни они ничего не скрывали друг от друга. Через месяц, когда однажды Анна вернулась домой, Ходасевича не было, но на столе стояла бутылка вина и корзиночка из-под пирожных. Когда он пришел, она спросила: «С кем ты пил вчера вино?» Он ответил: «С Берберовой».

С этого момента все пошло кувырком. По воспоминаниям Анны, «Владя то плакал, то кричал, то молился и просил прощения. У него были такие истерики, что соседи рекомендовали поместить его в нервную лечебницу. Я позвала невропатолога, который признал его нервнобольным и сказал, что ему нельзя ни в чем противоречить, иначе может кончиться плохо. Временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня два-три, то кричал и плакал, и я сама

отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения».

Вскоре Ходасевич заявил, что поедет в Москву по делам издания его четвертой книги стихов «Тяжелая лира». Анна спросила, один или с Берберовой? Он сказал: «Конечно, один». И уехал. Через несколько дней Анна встретила Берберову на улице и обрадовалась, что Ходасевич сказал правду. Из Москвы он писал письма, сперва деловые и более или менее спокойные, но потом тон писем резко изменился: он начал уверять, что необходимо разойтись, и что этого даже требует его старший брат Михаил Фелицианович. Анна очень удивилась, так как Михаил Фелицианович никогда не вмешивался в их жизнь и никакой существенной материальной помощи не оказывал.

Из воспоминаний Анны Ходасевич:

«Наконец я категорически спросила его письмом, вернется ли он в Петроград, мотивируя этот вопрос бытовой причиной – сроком пайка Дома ученых. Берберова в то время уже уехала из Петрограда. В ответ на мое письмо получила телеграмму: „Вернусь четверг или пятницу“. Мы жили на углу Невского и Мойки, и из нашего окна был виден почти весь Невский. Я простояла оба утра четверга и пятницы у окна, надеясь увидать Владю едущим на извозчике с вокзала. В пятницу за этим занятием меня застала Надя Павлович и сказала мне: „Ты напрасно ждешь, он не приедет“. Я ей на это показала телеграмму, но она повторяла: „Он не приедет“».

Через какое-то время Анна получила письмо, которое начиналось так: «Моя вина перед тобой так велика, что я не смею даже просить прощения». В дальнейшем она узнала, что Ходасевич получил командировку от Наркомпроса, и вместе с ним получила визу на выезд за границу его «секретарша» Берберова. Помог им в этом Максим Горький.

Вот как вспоминала о том времени (за несколько месяцев до отъезда) сама Берберова:

«Ходасевич был совершенно другой породы, даже его русский язык был иным. Кормилица Елена Кузина недаром выкормила этого полуполяка. С первой минуты он производил впечатление человека нашего времени, отчасти даже раненного нашим временем – и, может быть, насмерть. Сейчас, сорок лет спустя, „наше время“ имеет другие обертоны, чем оно имело в годы моей молодости, тогда это было: крушение старой России; военный коммунизм, нэп как уступка революции – мещанству; в литературе – конец символизма, напор футуризма; через футуризм – напор политики в искусство. Фигура Ходасевича появилась передо мною на фоне всего этого, как бы целиком

вписанная в холод и мрак грядущих дней».

«На рассвете он провожает меня домой, с Мойки на Кирочную. И в воротах дома мы стоим несколько минут. Его лицо близко от моего лица, и моя рука в его руке. И в эти секунды какая-то связь возникает между нами, с каждым часом она будет делаться все сильней».

Худой и болезненный, Ходасевич внезапно стал «выказывать несоответствующую своему физическому состоянию энергию» для выезда за границу. С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов. Нина Берберова вспоминала, как накануне отъезда он лежал на ее постели, а она сидела у него в ногах, он рассказывал о прошлом. Потом, по ее просьбе, написал свою краткую биографию, которая включала вот какие моменты:

«1909 – Пьянство. Карты. Италия. СПб. Смерть мамы. Босячество. Нюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гирееве.

1912 – Дом Б. Институт красоты. Валентина. Т. Саввинская.

1913 – Валентина. Мусагет. Голод. Гиреево. „Летучая мышь“. Дома Андреева. Смерть Нади Львовой».

Помимо биографии, он также написал шутливый «донжуанский» список, который завершался именем Нина – «Н.»:

...

Евгения
Александра
Александра
Марина
Вера
Ольга
Алина
Наталия
NN
Мадлен
Надежда
Евгения
Евгения
Татьяна
Анна
Екатерина
Н.

Анне Ходасевич продолжал писать письма и из Германии, потом из Италии, где он одно время жил у Максима Горького в

Сорренто, потом из Парижа. Письма были разные: часто жалобы на скуку, на здоровье, на одиночество. Потом письма стали «какие-то малоинтересные и ненужные». Анна переписку прекратила.

С Ниной Берберовой Ходасевич прожил долгие годы эмиграции. Их супружеская пара вошла в историю так же, как союз Мережковского и Гиппиус, Одоевцевой и Иванова.

Во Франции Ходасевич, как всегда, много работал. Он любил «возиться» со стихами, своими и чужими, исправляя строчки, подыскивая подходящее слово. «Жаль, что нельзя открыть фабрики для починки негодных стихов, – сказал он однажды. – До чего было бы интересно!» Говорил, что тот, кто не может написать статью к назначенному дню, – чего-то существенного не знает. Ссылался на пример молодого писателя, известного на Монпарнасе своей медлительностью. Когда тот попытался высчитать, сколько времени ему надо, чтобы написать то, что Ходасевич писал за год, получилось сто восемьдесят лет. Литературные круги были Ходасевичу не то что милы (порою он их ненавидел), а органически необходимы. «Странная вещь, – признавался он, – с литераторами я задыхаюсь, но без них мне скучно».

Ходасевич любил карты. Юрий Мандельштам вспоминал, как Ходасевич играл в бридж: «Он играл со сдержанной страстью, применяя „системы“. Сердился, когда „система“ подводила . В Ходасевиче прорывалось в такие мгновения что-то таинственное. И за картами он оставался наедине с роком. Вспоминаю его стихи:

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу – и лба не хмурю.
Ведь знаю: сердце все равно
Летит в излюбленную бурю».

Об эмигрантских днях жизни и творчестве Ходасевича любопытно писал Юрий Терапиано, поэт, прозаик, переводчик, литературный критик: «В первый раз я увидел Владислава Фелициановича Ходасевича в мае 1925 года на вечере Союза молодых поэтов и писателей. Союз был тогда в самом начале своего существования; „младшее поколение“ еще не успело завоевать себе признания… Перед самым началом доклада в зал вошел необычный посетитель. Поэты почувствовали это сразу, но никто посетителя не знал.

…Тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх…

У посетителя было надменное, умное, все в морщинах лицо и

длинные волосы. Длинные волосы в то время носил только Бальмонт. Но Бальмонт, по приглашению Союза, уже два раза выступал у нас, его знали… Позже участники Союза пошли с ним на Монпарнас в „Ротонду“, и там Ходасевич познакомился со всеми. До глубокой ночи мы слушали его рассказы о Берлине, Москве, Блоке, петербургском голоде, Доме писателей, Белом, Максиме Горьком – всего не перечислить… Ходасевич был прекрасным рассказчиком и, в отличие от других тогдашних, „старших“, держал себя с молодежью как равный с равными, чем очаровал всех.

В то время поэтическая атмосфера эмигрантского поколения только еще смутно намечалась. В Союзе шла острая борьба между последователями Пастернака, считавшими, что „после Пастернака нельзя писать иначе“, представителями имажинизма и футуризма и той группой, к которой примыкал и я, стремившейся вернуться к ясности и простоте, к традиции начала XIX века. Знакомство с Ходасевичем оказалось чрезвычайно полезным для молодых поэтов. В начале 1926 года Ходасевич был приглашен заведовать литературным отделом в газете „Дни“. Тот самый Ходасевич, у которого была репутация злого и беспощадного критика, в первые годы своего пребывания в Париже очень много сделал именно для начинающих писателей, в частности, вместе с З. Гиппиус, открыл доступ „начинающим“ в „Современные записки“».

Сам Ходасевич был прирожденным литератором: все, что имело отношение к литературе, он воспринимал как самое важное. У него всегда были литературные «враги», «друзья» и «попутчики». Мережковский и Гиппиус, правда, обвиняли Ходасевича в неспособности понимать метафизику. Действительно, в те годы он не выносил разговоров о «последних вопросах». Иронически, подчас очень зло, высмеивал «Зеленую лампу» и «Тайну трех (с маленькой буквы) за чайным столом», предлагая младшему поколению «взамен всей этой болтовни сосредоточить свои силы на какой-нибудь серьезной литературной работе».

Многие считали Ходасевича скептиком и даже атеистом. Мало кто знал, что он был верующим католиком, но не любил говорить об этом. Он скрывал свою веру под маской иронии, надменности и внешнего скептицизма.

Долгие годы жизни с Ниной Берберовой – постоянная работа, встречи, обсуждения. «Курсив мой» Нины Берберовой – не рассказ о личной жизни, а размышления о той эпохе, времени, которое писательница провела бок о бок со своим соратником и мужем. В какой-то момент Берберова, со свойственной ей цепкостью ума и

некоторой холодностью, поняла, что должна уйти. Уйти – сама. Через какое-то время ее муж и близкий друг также понял неизбежность конца.

Из воспоминаний Берберовой:

«Однажды утром Ходасевич постучал ко мне. Он пришел спросить меня в последний раз, не вернусь ли я. Если не вернусь, он решил жениться, он больше не в силах быть один. Я бегаю по комнате, пряча от него свое счастливое лицо: он не будет больше один, он спасен! И я спасена тоже. Я тормошу его, и шучу, и играю с ним, называю его „женихом“, но он серьезен: это – важная минута в его жизни (и моей!). Теперь и я могу подумать о своем будущем, он примет это спокойно. Я целую его милое, худенькое лицо, его руки. Он целует меня и от волнения не может сказать ни одного слова».

Оля Марголина появилась в их жизни еще зимой 1931 – 1932 годов. Ей было тогда около сорока лет, но она выглядела гораздо моложе. Нина Берберова вспоминала эпизод, как Оля как-то сказала: «И вот видишь: в свое время замуж не вышла, и вообще, все не как у всех». «„У всех“ – это значило у людей ее круга: одинаковых, буржуазных, семейных», – комментировала Берберова.

В январе 1939 года Ходасевич окончательно слег. Его поместили в госпиталь, затем он лежал дома. В конце мая узнали: необходима операция. Но операция не принесла желательного результата – болезнь была слишком запущена.

Владислав Ходасевич скончался 14 июня 1939 года, ровно за год до занятия Парижа немцами. Вечер его памяти, назначенный Союзом писателей в сентябре, не состоялся – началась война.

Во время оккупации жена Ходасевича, Ольга Борисовна, урожденная Марголина, как еврейка, была депортирована в Германию и не вернулась.

Квартира его была разграблена немцами. Погиб весь литературный архив, который он заботливо собирал еще с России в течение многих лет, включавший множество ценных материалов – писем, рукописей и других документов.

Анна Ходасевич писала, что «после его смерти до меня дошли два некролога: Сирина [2] и Берберовой с приложением трех стихотворений, найденных после его смерти».

Вот одно из них:

Памятник

Во мне конец, во мне начало,
Мной совершенное так мало!
Но все ж я прочное звено:
Мне это счастие дано.

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок.

Марина Цветаева 1892 – 1941 «„Все заживает“, – мне люди сказали…»

Памятью сердца
– венком незабудок
Я окружила
твой милый
портрет.
Днем утоляет и
лечит рассудок,
Вечером – нет.
Бродят шаги в
опечаленной зале,
Бродят и ждут,
не идут ли в ответ.
«Все
заживает», – мне
люди сказали…
Вечером – нет.

«Каждая встреча начинается с ощупи, люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времен....» – писала Цветаева. По воспоминаниям современников, Марина Ивановна была близорука. Может быть, отчасти поэтому (как они предполагали!) столь частые ее горькие разочарования и трагедии неизбежно завершались «мифотворчеством». По словам Марии Белкиной (биографа поэтессы), она сама придумывала, вернее созидала человека, «додумывая таким, каким он ей показался, каким ей хотелось, чтобы показался, каким он ей в данный момент был нужен…». Взгляд этих «глаз ночной птицы, ослепленных дневным светом», запоминался надолго. Широко открытые, очень светлые, прозрачные и холодные. Зря говорят, что у людей с холодными глазами – холодная душа. Просто у одних глаза подключены к разуму, а у других – к сердцу!

У Марины Ивановны была привычка садиться вполоборота к присутствующим. Возможно, ей казалось, что профиль у нее – значительнее. Возможно, ее даже раздражала округлость собственного лица, «младенческий овал». Это не соответствовало тому романтическому облику поэта, каким он ей рисовался. Она мало ела, изнуряла себя худобой. Стремилась придать некоторую аскетичность своему облику. Стриглась особо, закрывая щеки волосами. Курила запоем, папироса за папиросой. Очки

выбросила. Заставляла себя не сутулиться, держаться прямо и не пытаться разглядеть то, что при своей близорукости увидеть не могла:

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

Говорила Цветаева стремительно, и в монологе ее был полет. «Слова не успевали за мыслями, – замечала Мария Белкина, – она не заканчивала фразу и перескакивала на другую, думая, должно быть, что высказала уже все до конца». «Состояние творчества – это состояние наваждения», – говорила Цветаева. Монолог – тоже был некоторым образчиком творчества. Известен один рассказ о том, как Марина Ивановна в Париже приехала к друзьям на дачу. Было очень много народу. Пили в саду чай. Марина Ивановна села с незнакомой женщиной и стала ей говорить о стихах, об искусстве, о вечной трагедии жизни и так увлеклась, что проговорила с ней все время до отъезда в город, сказала хозяйке дома, что «давно у нее не было столь внимательного слушателя», даже не заметив, что собеседница ничего не понимала, так как почти не знала русского языка!

Владимир Вейдле (литературовед, историк русской эмиграции), однако, описывал встречу с Цветаевой в 1934 году совершенно в ином тоне: «Держала она себя просто, приветливо и скромно. Говорила грудным голосом сдержанно и тихо. Женственна она была. Женственности ее нельзя было забыть ни на минуту. Но в том, вероятно, разгадка несходства ее ни с кем – и заключалась, что женственность, или, даже грубее, женскость, не просто вступила у нее с поэтическим даром в союз (как у Ахматовой) и не отреклась от себя, ему уступив (как у Гиппиус), а всем своим могучим порывом в нее влилась и неразрывно с ним слилась. Отсюда, должно быть, и резкое различие ее ранних (девических) стихов от зрелых – пульса, импульса, ритма их, прежде всего: то, что в тех журчит, в этих клокочет, а также, смею думать, фантастичность иных ее влюбленностей, о которых осведомили нас, – едва ли не преждевременно хоть и посмертно опубликованные письма…»

Марина Цветаева родилась в Москве 26 сентября (8 октября) 1892 года, стихи начала писать в шестилетнем возрасте, не только на русском, но и на французском и немецком. Зимой 1910 – 1911 годов Максимилиан Волошин пригласил Марину Цветаеву и ее сестру Анастасию (Асю) провести лето в Коктебеле, где Марина познакомилась с Сергеем Эфроном. В Сергее Цветаева

увидела воплощенный идеал благородства, рыцарства и вместе с тем беззащитность. Любовь к Эфрону была для нее и преклонением, и духовным союзом, и почти материнской заботой. Встречу с ним Цветаева восприняла как начало новой, взрослой жизни и как обретение счастья: в январе 1912 года они обвенчались. Во время Гражданской войны Сергей Эфрон сражался в рядах Белой армии, и оставшаяся в Москве Цветаева не имела о нем никаких известий.

Нина Берберова вспоминала: «Увлечение Цветаевой Белой армией было нелепым, оно в какой-то степени вытекало из ее привязанности к мужу, С. Эфрону, которому она „обещала сына“ – она так и сказала мне: „У меня будет сын, я поклялась Сереже, что я дам ему сына“. Несомненно, в Марине Ивановне это отщепенство тем более было трагично, что с годами ей все более начало хотеться слияния, что ее особенность постепенно стала тяготить ее, она изживала ее, а на ее месте ничто не возникало взамен…»

В Москве Цветаева и дети с трудом сводили концы с концами, голодали. В начале зимы 1919 – 1920 годов Цветаева отдала дочерей в детский приют в Кунцеве. Вскоре она узнала о тяжелом состоянии девочек и забрала домой старшую, Алю, к которой была привязана как к другу и которую исступленно любила. В начале 1920 года младшая, Ирина, умерла от голода.

В 1922 году Марина Ивановна и Аля приехали в Берлин, а затем перебрались к Эфрону в Чехию, где провели более четырех лет. В 1925-м у них родился долгожданный сын, названный Георгием (домашнее имя – Мур). Цветаева его обожала. Стремление сделать все возможное для счастья и благополучия сына потом воспринималось взрослевшим Муром отчужденно и эгоистично; вольно или невольно он сыграл трагическую роль в судьбе матери. По словам Нины Берберовой, «в Праге Цветаева производила впечатление человека, отодвинувшего свои заботы, полного творческих выдумок, но человека, не видящего себя, не знающего своих жизненных (и женских!) возможностей. Цветаева как бы поддалась старому декадентскому соблазну придумывать себя: поэт-урод, непризнанный и непонятый, мать своих детей и жена своего мужа, любовница молодого эфеба»:

Ляг – и лягу. И благо. О, все на благо!
Как тела на войне —
В лад и в ряд. (Говорят, что на дне оврага,
Может – неба на дне!)
В этом бешеном беге дерев бессонных
Кто-то насмерть разбит.
Что победа твоя – пораженье сонмов,

Знаешь, юный Давид?

Цветаева искренне верила, что своими заклинаниями, своей верностью она спасла жизнь Сергею, но семейная жизнь оказалась очень непростой. Неустроенный быт стал для Цветаевой настоящей Голгофой. Необходимо было стирать, готовить, выгадывать на рынках дешевую еду, латать прохудившуюся одежду. «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, – нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом», – писала она в письме одному из своих корреспондентов. Но это было лишь начало. В Чехии она пережила страстную и мучительную любовь к другу Сергея, Константину Родзевичу. Радостный, уверенный, земной Родзевич покорил Цветаеву, увидев в ней не поэта, а просто женщину. Он, по-видимому, мало понимал ее стихи, не стремился быть тоньше и значительнее, чем есть на самом деле, всегда оставался собой. «Я сказала Вам: есть – Душа. Вы сказали мне: есть – Жизнь». Ему посвящена одна из самых пронзительных поэм Цветаевой – «Поэма конца».

Были и другие увлечения. В Праге Цветаева прочитала рецензию Александра Бахраха на свою книгу «Ремесло», а 9 июня 1923 года написала ему первое письмо:

«Я не знаю, кто ВЫ, я ничего не знаю о Вашей жизни, я Вами совершенно свободна, я говорю с духом… Я хочу от Вас – чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком – и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров… У меня так много слов… Это волшебная игра. Это полное va banque [3] – чего? – и вот задумалась: не сердца, оно слишком малое в моей жизни! – может быть, его у меня вовсе нет, но есть что-то другое, и его много, чего никогда не истрачу, – душа? Не знаю, как его зовут, но, кроме него, у меня нет ничего…»

20 сентября было снова письмо к Бахраху, уже совершенно другое:

«Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две руки и выслушайте меня: *что-то* кончено. Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше. Я люблю другого – проще, грубее и правдивее не скажешь».

И уже 22 сентября снова письмо Цветаевой Родзевичу:

«…Арлекин! – так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть – Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос, – а лучшую

меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или все – или ничего, но в этом *все* – как в первозданном хаосе – столько, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итого меня».

Эфрон тяжело переносил увлечение жены, для него стали настоящей пыткой ее метания, ее раздражение, отчуждение. Они слишком срослись, слишком многое было пережито, слишком одиноки они были в мире, чтобы он мог ее оставить. Но и жить с неуравновешенной, не умевшей лгать, преувеличенно все воспринимавшей талантливой поэтессой становилось все труднее. Чаша весов при решающем выборе Цветаевой все-таки качнулась в сторону Эфрона. Она смогла отойти от Родзевича, но отношения с Сергеем никогда уже не стали прежними:

Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах! —
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

У Цветаевой были и другие романы, больше, правда, в мечтах и письмах. Она просто не могла жить не заполняя душу кумирами и восхищением. Когда этот источник иссякал, пропадало и ее творчество, а значит, и жизнь покидала ее, ибо для Цветаевой земное бытие было невозможно без поэзии. Со своими корреспондентами, Борисом Пастернаком и Райнером Рильке (австрийским поэтом-символистом), которым она писала потрясающие по интимной откровенности письма, она практически не встречалась. Несколько тягостных встреч с Пастернаком и никогда – с Рильке. Тем не менее, читая сегодня ее строки, обычному читателю в это поверить трудно. Не верила своему мужу и жена Пастернака, запретившая однажды в порыве ревности переписку. Говоря о романах Цветаевой, нельзя забывать, что она прежде всего – Поэт, которому очарованность тем или иным человеком нужна была так же, как обывателю еда и сон, нужна была, чтобы пребывать в высоком, самосжигающем накале творческого вдохновения. Подобной историей была, в частности, ее юношеская влюбленность в Софью Парнок (еще в России, до ухода Сергея на фронт). Материнская забота, нежность и внезапно вспыхнувшее чувство к достаточно взбалмошной молодой особе отражены в цикле стихов «Подруга»:

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа?
Кто побежден?
Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.

В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Переезд во Францию не облегчил жизнь Цветаевой и ее семьи. Сергей Эфрон, непрактичный и неприспособленный к тяготам эмигрантской жизни, зарабатывал немного. Цветаеву печатали мало, зачастую правили ее тексты. Во второй половине 1930-х она испытала глубокий творческий кризис, произошел тяжелый конфликт с дочерью, настаивавшей, вслед за своим отцом, на отъезде в СССР. В сентябре 1937-го Сергей Эфрон оказался причастен к похищению генерала Миллера, одного из лидеров Белого движения, и убийству Игнатия Рейса (Натана Порецкого), бывшего агента советских спецслужб, решившего остаться во Франции. Эфрону пришлось скрываться и бежать в СССР. Вслед за ним на родину вернулась дочь Ариадна. Цветаева осталась в Париже с сыном. По воспоминаниям Нины Берберовой, ее муж поэт Владислав Ходасевич как-то обмолвился, что в молодости Марина Цветаева напоминала ему Есенина: цветом волос, цветом лица, даже повадками, даже голосом. Берберова рассказывала, что видела сон, как оба они, совершенно одинаковые, висят в своих петлях и качаются: «В ней самой, в характере ее отношения к людям и миру, уже таился этот конец: он предсказан во всех ее стихах, где она кричит нам, что она не такая, как все, что она гордится, что она не такая, как мы, что она никогда не хотела быть такой, как мы». Многие эмигранты в Париже считали, что гибель Марины Цветаевой – общий их грех, общая вина. Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» привела слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом: «Некуда податься – выживает меня эмиграция». Она была права – эмиграция действительно «выжила» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом – к ней.

Помимо непростых взаимоотношений с эмиграцией, желание Цветаевой соединиться с мужем и дочерью было причиной того, что в 1939 году она вместе с сыном вернулась на родину. Первое время они все вместе жили на государственной даче НКВД, предоставленной Эфрону. Однако вскоре и мужа, и Ариадну арестовали. После этого Цветаеву «изгнали» практически отовсюду. Функционеры Союза писателей отвернулись от нее как от жены и матери «врагов народа». Подготовленный ею в 1940 году сборник стихов не напечатали. Денег катастрофически не хватало. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 августа 1941 года, Цветаева с сыном эвакуировались из Москвы и оказались в небольшом городке Елабуге. Здесь работы тоже не было, у нее произошла ссора с сыном, который, по-видимому,

упрекал ее в их тягостном положении. 31 августа 1941 года Марина Цветаева повесилась.

Любое самоубийство – тайна, замешанная на непереносимой боли. В лучшем случае известен конкретный внешний толчок, сыгравший роль спускового механизма. Но в одних только внешних событиях ключ к тайне не найти. Все, кто встречался с Цветаевой в те полтора месяца, отделявшие день ее отъезда с сыном в эвакуацию от начала войны, сходились в утверждении, что состояние ее духа было крайне напряженным и подавленным. «У меня нет друзей, а без них – гибель», – записывала Марина Ивановна в рабочую тетрадь еще в мае 1940 года. За год ситуация не изменилась. В самый канун отъезда из Москвы она посетила писателя Илью Эренбурга, вернувшегося из Франции год назад. О свидании, со слов Мура, рассказал в своей книге «Париж – Гулаг – Париж» Дмитрий Сеземан: «Марина стала Эренбурга горько упрекать: „Вы мне объяснили, что мое место, моя родина, мои читатели здесь, вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает. Как мне прикажете быть?“ Что же ей отвечал Эренбург? „Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего“. „Вы негодяй“, – сказала она и ушла, хлопнув дверью…»

На сегодняшний момент существуют, пожалуй, три главные версии самоубийства Цветаевой. Первая была выдвинута ее сестрой Анастасией и тиражирована в многократных переизданиях ее «Воспоминаний». Марина Цветаева ушла из жизни желая спасти или, по крайней мере, облегчить участь своего сына. Убедившись, что сама уже не может ему помочь, более того, мешает прилипшей репутацией «белогвардейки», она приняла роковое решение, лелея надежду, что без нее Муру скорее помогут. Особенно если она уйдет *так* .

Другую версию аргументировала Мария Белкина. С одной стороны, к уходу из жизни Цветаева была внутренне давно готова, о чем свидетельствовало множество ее стихотворений и дневниковых записей. Но Белкина внесла еще один мотив, не назвав его прямо и все же проведя его с достаточным нажимом, – мотив душевного нездоровья Цветаевой, обострившегося с начала войны: «Она там уже, в Москве, потеряла волю, не могла ни на что решиться, поддавалась влиянию любого, она не была уже самоуправляема…»

Третья версия, самая неправдоподобная и наскоро слепленная, по мнению большинства критиков, принадлежала Кириллу Хенкинуа. Автор «Охотника вверх ногами» утверждал,

что Марину Ивановну неоднократно вызывал к себе местный уполномоченный НКВД и предлагал «помогать».

Последние годы Цветаева жила в постоянном страхе. Не за себя, а за близких. Однажды – уже началась война – в квартиру без предупреждения пришел управдом. Марина Ивановна встала у стены, раскинув руки, как бы решившаяся на все, напряженная до предела. Управдом ушел, а она все стояла… Оказалось, управдом приходил, просто чтобы проверить затемнение. Но Цветаева слишком хорошо помнила появление коменданта на даче в Болшеве осенью тридцать девятого: всякий раз такому появлению сопутствовал очередной обыск – и арест.

Ирма Кудрова, автор книги «Гибель Марины Цветаевой», побывавшая в Елабуге много лет спустя, в 1993 году, нашла случайных людей, которым довелось встречать Марину Цветаеву незадолго до смерти. По ее словам, Тамара Петровна Головастикова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара: «Не запомнить эту необычную женщину было нельзя! Стоя посреди уличного базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Цветаева курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился – он показался Тамаре Петровне странно красивым. Сын отвечал Цветаевой тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо по просьбе матери. Лицо Цветаевой было как будто вырезанное из кости и предельно измученное, „как будто сожженное“…»

«Во мне уязвлена, окровавлена самая сильная моя страсть: справедливость», – записала Марина Ивановна в своей тетради. Она никогда не могла не принимать так близко к сердцу попрание. Таков был ее сердечный ожог. Безмерная острота реакции – отличительная черта ее природного склада и души… Гигантская работа мыслей и чувств шла в Цветаевой непрерывно, и, казалось, даже ночью ей не могло быть покоя. То напряжение, в котором она постоянно находилась, невольно передавалось тем, кто ее окружал. Как бы за глухой, непроницаемой для слуха, для глаза стеной ощущалось биение океана, его приливы и отливы, штиль, шторм, нарастание баллов. И Марина Ивановна была всецело подчинена законам не внешнего, а этого своего внутреннего мира, и потому казалось, что и глаза ее, «нетутошние какие-то», смотрят не во вне, а вовнутрь, «в нее самое».

Свою последнюю встречу с Цветаевой в Париже Ирина Одоевцева описала в книге «На берегах Сены».

«Марина Ивановна, вы рады, что возвращаетесь в Россию?» –

спросила Одоевцева.

Цветаева покачала головой:

«Ах, нет, совсем нет. Вот если бы я могла вернуться в Германию, в детство. Туда бы я хотела – там такие широкие площади и старинные готические здания. А в России все теперь чужое. И враждебное мне. Даже люди. Я всем там чужая. Все же я довольна, что покидаю Париж. Я его изжила. Сколько горя, сколько обид я в нем перенесла. Нигде я не была так несчастна. А когда-то в Праге – там я очень скучала – я мечтала, как хорошо будет в Париже. А в Париже Прага стала казаться мне чуть ли не потерянным раем.... А теперь я еду в Москву. Сыну там будет лучше. Но мне?..»

Луна ярко светила. Слишком ярко. В ее свете все начинало казаться нереальным.

«А вы совсем другая, чем мне казались», – сказала тогда Цветаевой Ирина Одоевцева.

«Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне».

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

В своей «Повести о Сонечке» – произведении, которое сама Цветаева очень любила, есть знаменитые слова, обращенные к главной героине: «Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились – все мужчины, изревновались к тебе – все жены, исстрадались по тебе – все поэты…» Нам представляется, что, прочтя стихотворения Марины Цветаевой, именно эти слова так явно, остро, кричаще обращены именно к ней самой…

София Парнок 1885 – 1933 «Я слабею, и слабеет привязь, крепко нас вязавшая с тобой…»

София Парнок (настоящая фамилия Парнох) – русская поэтесса, переводчица – родилась 30 июля (11 августа) 1885 года в Таганроге, в обрусевшей еврейской семье. Отец – провизор, владелец аптеки, почетный гражданин города. Мать – врач. София рано ее потеряла: та умерла вскоре после рождении близнецов, Валентина и Елизаветы. Отец повторно женился на гувернантке. Отношения с мачехой, да и с отцом, у Сони не сложились. Одиночество, отчужденность, замкнутость в своем собственном мире были постоянными спутниками задиристой, крутолобой девочки с копною непокорных кудрей и каким-то странным, часто уходящим в себя взглядом. Соня очень хорошо играла на фортепиано, усердно занималась, по ночам разбирая трудные партитуры опер, клавиры, сонатины Моцарта и скерцо Листа. Легко играла «Венгерскую рапсодию». Таганрогскую гимназию она окончила с золотою медалью и в 1904 году уехала в Женеву. Там училась в консерватории по классу фортепиано. Но музыкантом не стала. Елена Калло о несостоявшейся пианистке Соне Парнок писала так: «Несомненно, у Парнок был музыкальный дар, более того, можно сказать, что именно через музыку она ощущала мир. Недаром потрясение, испытанное от звуков органа в католическом храме, пробудило в ней творческую стихию в ранней юности (стихотворение „Орган“)».

София Парнок страстно увлекалась литературой. Переводила с французского, писала пьесы, шарады, скетчи и создала первый цикл стихов, посвященный Надежде Павловне Поляковой – ее женевской любви. Софья Яковлевна очень рано осознала эту свою странную странность. «Я никогда не была влюблена в мужчину», – писала она Михаилу Гнесину, другу и учителю. Ее притягивали и привлекали женщины. Что это было? Неосознанная тяга к материнскому теплу, ласке, нежности, которой не хватало в детстве, по которой тосковала ее душа, некий комплекс незрелости, развившийся в страсть и порок позднее, или нечто другое, более загадочное и так до сих пор – непознанное? Ирина Ветринская, исследовавшая проблему «женской любви» довольно долго и посвятившая ей немало статей и книг, писала по этому поводу следующее: «Психиатрия классифицирует это как невроз, но я придерживаюсь совершенно противоположного мнения:

лесбиянка – это женщина с необычайно развитым чувством собственного „я“. Ее партнерша – это ее собственный зеркальный образ; тем, что она делает в постели, она говорит: „Это я, а я – это она. Это и есть высшая степень любви женщины к самой себе“». Мнение спорное, быть может, но не лишенное оснований и объясняющее многое в этом странном и загадочном явлении – «женской любви».

Не скрывавшая своих природных наклонностей от общества и не стыдившаяся их – наверное, для этого нужно было немалое мужество, – Софья Яковлевна, тем не менее, осенью 1907 года, вскоре после возвращения из Женевы в Россию, вышла замуж за Владимира Волькенштейна – известного литератора, теоретика драмы, театроведа. Но через полтора года, в январе 1909-го, супруги расстались, по инициативе Софьи Яковлевны. Официальной причиной развода стало ее здоровье – невозможность иметь детей.

Софью Парнок нельзя назвать мужественной, скорее независимой, в чем-то даже, несмотря на мужские костюмы и увлечения женщинами, мягкой, ранимой. Владислав Ходасевич вспоминал о ней: «Среднего, скорее даже небольшого роста, с белокурыми волосами, зачесанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, „лермонтовском“ взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям».

В 1906 году Софья Яковлевна дебютировала в журналах критическими статьями, написанными блестящим остроумным слогом. Парнок своим талантом быстро завоевала внимание читателей. К тому же она все время занималась самообразованием и очень требовательно относилась к себе. Тем самым не могла не привлечь внимания многих. Вот что она писала Любови Гуревич, близкой подруге, в откровенном письме 10 марта 1911 года: «Когда я оглядываюсь на мою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа… Все, что мне бесконечно отвратительно в художественном произведении, чего никогда не может быть в моих стихах, очевидно, где-то есть во мне и ищет воплощения, и вот я смотрю на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу». А вот в другом письме тому же адресату: «Если у меня есть одаренность, то она именно такого рода, что без образования я ничего с ней не сделаю. А

между тем случилось так, что я начала серьезно думать о творчестве, почти ничего не читав. То, что я должна была бы прочесть, я не могу уже теперь, мне скучно… Если есть мысль, она ничем, кроме себя самой, не вскормлена. И вот в один прекрасный день за душой ни гроша и будешь писать сказки и больше ничего». Сказки ее не устраивали. Она предпочитала оттачивать остроту ума в критических статьях и музыкальных рецензиях. Впрочем, не ядовитых.

Софье Яковлевне часто приходилось посещать театральные премьеры и литературно-музыкальные салонные вечера. Она любила светскость и яркость жизни, привлекала и приковывала к себе внимание не только неординарностью взглядов и суждений, но и внешним видом: ходила в мужских костюмах и галстуках, носила короткую стрижку, курила сигару. На одном из таких вечеров, в доме Аделаиды Казимировны Герцык-Жуковской, 16 октября 1914 года, Софья Парнок и встретилась с Мариной Цветаевой.

Какой же видели Марину Цветаеву-Эфрон в то время ее современницы? «Очень красивая особа, с решительными, дерзкими, до нахальства, манерами… богатая и жадная, вообще, несмотря на стихи, – баба-кулак! Муж ее – красивый, несчастный мальчик Сережа Эфрон – туберкулезный чахоточный», – так отозвалась о ней в своем дневнике 12 июля 1914 года Рашель Хин-Гольдовская, в чьем доме жили некоторое время семья Цветаевой и сестры мужа. Актриса Елена Позоева оставила такие воспоминания: «Марина была очень умна. Наверное, очень талантлива. Но человек она была холодный, жесткий; она никого не любила… Часто она появлялась в черном… как королева… и все шептали: „Это Цветаева… Цветаева пришла…“».

В декабре 1915 года роман Цветаевой с Парнок уже в самом разгаре. Роман необычный и захвативший сразу обеих. По силе взаимного проникновения в души друг друга – а прежде всего это был роман душ – это было похоже на ослепительную солнечную вспышку. Что искала в таком необычном чувстве Марина, тогда еще не бывшая столь известной поэтессой? Перечитывая документы, исследования Николая Доли и Семена Карлинского, посвященные этой теме, все сильнее убеждаешься лишь в том, что Марина Цветаева, будучи по натуре страстной и властной подобно тигрице, не могла до конца удовлетвориться только ролью замужней женщины и матери. Ей нужна была созвучная душа, над которой она могла бы властвовать безраздельно – гласно ли, негласно, открыто ли, скрыто ли – неважно! Властвовать над стихами, рифмами, строками, чувствами, душой, мнением, движением ресниц, пальцев, губ или какими-то

материальными воплощениями – выбором квартиры, гостиницы для встречи, подарка или спектакля и концерта, которым стоит закончить вечер… Она охотно предоставила Софье Яковлевне «ведущую», на первый взгляд, роль в их странных отношениях. Но только – на первый взгляд.

По мнению критика Светланы Макаренко, «влияние Марины на Софью Парнок, как личность и Поэта, было настолько всеобъемлющим, что, сравнивая строки их стихотворных циклов, написанных почти одновременно, можно найти общие мотивы, похожие рифмы, строки и темы. Власть была неограниченна и велика. Подчинение – тоже»! Вот одно из стихотворений, написанных Софьей Парнок в 1915 году, в разгар романа, в «коктебельское лето», когда к их мучительному роману прибавилась жгучесть чувства Максимилиана Волошина к Марине – чувства внезапного и довольно сложного (поощряемого Мариной):

Причуды мыслей вероломных
Не смог дух алчный превозмочь —
И вот, из тысячи наемных,
Тобой дарована мне ночь.
Тебя учило безразличье
Лихому мастерству любви.
Но вдруг, привычные к добыче,
Объятья дрогнули твои.
Безумен взгляд, тоской задетый,
Угрюм ревниво сжатый рот, —
Меня терзая, мстишь судьбе ты
За опоздалый мой приход.

Они рисковали, но не боялись эпатировать общество: провели вместе в Ростове рождественские каникулы 1914 года. Семья Марины и ее мужа, Сергея Эфрона, об этом знала, но сделать ничего не могла. Вот одно из писем Елены Волошиной (близкой подруги Елизаветы Эфрон, сестры мужа Цветаевой) к Юлии Оболенской, немного характеризующее ту нервную обстановку, которая сложилась в доме Цветаевых-Эфронов: «Что Вам Сережа наговорил? Почему Вам страшно за него? Вот относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез. Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней, держала это в большом секрете. Соня эта уже поссорилась со своей подругой, с которой вместе жила, и наняла себе отдельную квартиру на Арбате. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары». Чары усиливались настолько, что была предпринята совместная поездка в Коктебель, где Цветаевы проводили лето и раньше. Здесь в Марину безответно и пылко

влюбился Максимилиан Волошин. Шли бесконечные разбирательства и споры между Мариной и ее подругой.

Софья Парнок испытывала муки ревности, но Марина, впервые проявив «тигриную суть», не подчинялась попыткам вернуть ее в русло прежнего чувства, принадлежавшего только им двоим. С одной стороны, она поощряла ухаживания Волошина, с другой – тревожилась о муже, уехавшем в марте 1915 года на фронт с санитарным поездом. Даже написала Елизавете Яковлевне Эфрон в откровенном и теплом письме летом 1915 года: «Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда я от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С нею засыпаю, с нею просыпаюсь».

«Соня меня очень любит, – говорится далее в письме, – и я ее люблю – это вечно, и я от нее не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает». И через несколько строк: «Не могу делать больно и не могу не делать». Боль от необходимости выбирать между двумя любимыми людьми не проходила, отражалась и в творчестве, и в неровности поведения.

В цикле стихов «Подруга» Марина пыталась обвинить Софью в том, что та ее завела в такие «любовные дебри». Предприняла несколько резких попыток разорвать отношения. Михаилу Кузмину она так описала конец ее любовного романа с Софьей: «Это было в 1916 году, зимой, я в первый раз в жизни была в Петербурге. Я только что приехала. Я была с одним человеком, то есть это была женщина – Господи, как я плакала! – Но это неважно! Она ни за что не хотела чтоб я ехала на вечер. Она сама не могла, у нее болела голова – а когда у нее болит голова… она – невыносима. А у меня голова не болела, и мне страшно не хотелось оставаться дома».

После одной из встреч Соня заявила, что «ей жалко Марину». Цветаева сорвалась с места и отправилась к кому-то на вечер. Но, побыв там некоторое время, она довольно скоро засобиралась назад к Соне, объясняя: «У меня дома больная подруга». Все только смеялись: «Вы говорите так, точно у вас дома больной ребенок. Подруга подождет». В результате – драматический финал, который не заставил себя ждать. Уже в феврале 1916 года Цветаева писала: «Мы расстались… Почти что из-за Кузмина, то есть из-за Мандельштама, который, не договорив со мною в Петербурге, приехал договаривать в Москву. Когда я, пропустив два Мандельштамовых дня, к ней пришла – первый пропуск за годы, – у нее на постели сидела другая: очень большая, толстая,

черная… Мы с ней дружили полтора года. Ее я совсем не помню. То есть не вспоминаю. Знаю только, что никогда ей не прощу, что тогда не осталась!»

Своеобразным памятником так трагично оборвавшейся любви со стороны Софьи была книга «Стихотворения», вышедшая в 1916 году и сразу запомнившаяся читателям, прежде всего тем, что говорила Софья Яковлевна о своем чувстве открыто, без умолчания, полунамеков, шифровки. Ею как бы был написан пленительный портрет Любимого Человека, со всеми его – ее резкостями, надрывами, надломами, чуткостью, ранимостью и всеохватной нежностью этой пленяюще страстной души! Души ее любимой Марины. Подруги. Девочки. Женщины. Там было знаменитое теперь:

Снова на профиль гляжу я твой крутолобый
И печально дивлюсь странно-близким чертам твоим.
Свершилося то, чего не быть не могло бы:
На пути на одном нам не было места двоим.
О, этих пальцев тупых и коротких сила,
И под бровью прямой этот дико-недвижный глаз!
Раскаяния – скажи – слеза оросила,
Оросила ль его, затуманила ли хоть раз?

Любовь надо было отпускать. И она отпустила. Жила прошлыми воспоминаниями, переплавляла их в стихи, около нее были новые подруги, новые лица… Парнок писала стихи все лучше, все сильнее и тоньше психологически были ее образы, но наступали отнюдь не стихотворные времена. Грянула октябрьская смута. Какое-то время Софья Яковлевна жила в Крыму, в Судаке, перебивалась литературной «черной» работой: переводами, заметками, репортажами. Софье Яковлевне жилось трудно, голодно. Чтобы как-то выстоять, она вынуждена была заниматься уроками – платили гроши – и огородничеством.

Силы ей давала любовь. Бог посылал ей людей, которые ее обожали и были ей преданы душою, – таких как физик Нина Евгеньевна Веденеева. Парнок встретилась с нею за полтора года до своей смерти. И скончалась у нее на руках. Она посвятила Нине Евгеньевне свои самые проникновенные и лиричные строки. Но, умирая, неотрывно смотрела на портрет Марины Цветаевой, стоявший на тумбочке, у изголовья. Она не говорила ни слова о ней. Никогда после февраля 1916 года. Может, молчанием хотела подавить любовь? Или – усилить? Никто не знает.

Незадолго до смерти она написала:

Вот уж не бунтуя, не противясь,
Слышу я, как сердце бьет отбой,
Я слабею, и слабеет привязь,

Крепко нас вязавшая с тобой…

В начале стихотворения стояли едва различимо две заглавные буквы: «М. Ц.». Так она попрощалась со своей возлюбленной – Подругой, не догадываясь, что потом та сказала, услышав о ее смерти в июне 1934 года, далеко на чужбине: «Ну и что, что она умерла, необязательно умирать, чтобы умереть!» (М. Цветаева. Письмо к Амазонке.)

Ее неловкая, маленькая Марина, ее «девочка-подруга», была, как всегда, властно-безжалостна и резка в суждениях. В конце концов, сильно ненавидят лишь тех, кого прежде столь же сильно любили.

Софья Яковлевна Парнок скончалась 26 августа 1933 года, в подмосковном селе Каринское. Похоронена несколько дней спустя на немецком кладбище в Лефортово. Ее творчество и история ее взаимоотношений с Цветаевой до сих пор не изучены полностью, как и архив.

Фёдор Сологуб 1863 – 1937 «… Рассказать, чем сердце жило…»

Фёдор Сологуб (настоящее имя Фёдор Кузьмич Тетерников) родился 17 февраля (1 марта) 1863 года в Санкт-Петербурге. Он был сыном портного и кухарки. В те времена, по словам Владислава Ходасевича, «выйти в люди» человеку такого происхождения было непросто. Может быть, именно поэтому Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и долго там оставался. Он был радушным хозяином, но жажда одиночества оказывалась в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал и не слышал. Иногда молчал или даже засыпал. Многие знали его как колдуна, ведуна, чародея.

Свою жизнь, которая закончилась в 1927 году, Сологуб почитал не первой и не последней. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преображений: «Ибо все и во всем – Я и только Я, и нет иного, и не было, и не будет, – писал он. – Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные». При таком взгляде на вещи временная жизнь, цикл переживаний, кончается столько же временной смертью – переходом к новому циклу.

О Сологубе говорили, что он злой. Возможно, писатель не был злым, просто не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, как говорили, неуживчивым характером, Сологуб нередко ссорился с людьми, вступаясь за нее. Впрочем, он и сам долго помнил обиды. В 1906 году Андрей Белый напечатал в «Весах» о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. И через семнадцать лет, в 1924 году, когда Белый, явившись на его шестидесятилетний юбилей, после своей, как всегда, бурно-восторженной речи жал Сологубу руку, тот процедил сквозь зубы: «Вы сделали мне больно». И больше не сказал ни слова.

Существовали, однако, два человека, две женщины, которых Сологуб очень любил и которых – обеих – утратил. Первая была его сестра, Ольга Кузьминична, тихая, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба, в частности:

…Рассказать, чем сердце жило,

Чем болело и горело,
И кого оно любило,
И чего оно хотело.
Так мечтаешь, хоть недолго,
О далекой, об отцветшей,
Имя сладостное Волга
Сходно с именем ушедшей.

Второй женщиной в жизни Сологуба была уже упомянутая Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Анастасия Николаевна была родственницей Луначарского, и в определенный момент высокопоставленный родич жены сыграл немаловажную роль в жизни писателя. В 1921 году он подал в политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей – Сологуба и Блока. Ходатайство поддержал Максим Горький, но политбюро почему-то постановило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: «Товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете одного Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем даже была статья в Times'е, а Сологуб – ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов». Копия этого письма была прислана Горькому, после чего Блоку выдали заграничный паспорт, которым тот так и не успел воспользоваться, а Сологуба задержали. Осенью, после многих страданий и стараний Горького, ему все-таки тоже дали заграничный паспорт, потом опять отняли, потом опять дали… Вся эта история настолько поколебала равновесие Анастасии Николаевны, что, когда уже был назначен день отъезда, она, в припадке меланхолии, бросилась в Неву с Тучкова моста. Ее тело извлекли из воды лишь через семь с половиной месяцев. Сологуб долго не верил в гибель жены, а убедившись в ужасной правде, уже не захотел уезжать. Его почти не печатали, но он писал. Упорствуя и не сдаваясь, в 1921 году он создал веселый, задорный цикл стихов:

Любовью я – тра, та, там, та – томлюсь,
К могиле я – тра, та, там, та – клонюсь.

Иннокентий Анненский 1855 – 1909 «Не потому, что от Нее светло, а потому, что с Ней не надо света»

Поэт, лингвист, глубокий знаток античной культуры, переводчик Иннокентий Фёдорович Анненский окончил историко-филологический факультет Петербургского университета по отделению сравнительного языкознания. Лингвистические способности у него были выдающиеся. Сын Анненского, поэт Валентин Кривич, писал: «Помнится мне цифра 14, всегда упоминавшаяся, когда почему-либо заходила речь о языках ему знакомых. Конечно, одни, как французский и немецкий, он знал с детства, а древние были его, так сказать, профессиональной специальностью, в других же, может быть, он только разбирался, конечно, в этот счет входили и языки славянские, но все же их было 14».

В 1896 году поэт поселился в Царском Селе, «городе муз», став директором Николаевской мужской классической гимназии. Для директора была предоставлена квартира, располагавшаяся на втором этаже гимназии и имевшая большую веранду. Окна выходили на Малую улицу. Во дворе был личный сад Анненского. Он очень любил цветы и с удовольствием их разводил. Вот как вспоминал то время будущий поэт, а тогда маленький мальчик Всеволод Рождественский: «Огромная директорская веранда выходила в сад, где бежали улицы, желтеющие песком дорожки и дремали клумбы с необычайно яркими, пряными цветами, которые так любил их хозяин, И. Ф. Анненский. С самого раннего детства я помню его высокую суховатую фигуру, чинную и корректную даже в домашней обстановке. Неторопливо раскачиваясь в плетеной качалке, он узкими, тонкими пальцами с какой-то брезгливой осторожностью перебирал страницы журнала или, опираясь на трость, долго следил за танцующим полетом лиловой бабочки над ярко распахнутой чашей георгина или мохнатой астры…»

Спокойный и горделивый, в туго накрахмаленном высоком воротнике и в широком галстуке старинного покроя, с приветливым взглядом серо-синих глаз – этот человек сразу сумел внушить своим ученикам любовь и преклонение. Современница Анненского Любовь Гуревич в статье, посвященной его памяти, писала: «Рассказы гимназистов, его учеников, дополняемые личными впечатлениями, рисовали образ учителя,

не похожего на обыкновенных русских учителей, – изысканного, светски-любезного в обращении со старшими и младшими, по-европейски корректного, остроумного, с каким-то особенным, индивидуальным изломом в изящной стройной фигуре, в приемах и речах».

Однако заслуга Анненского была не в том, что гимназисты пытались постигнуть античную трагедию, а в том, что он, по воспоминаниям Эриха Голлербаха, «звал к „пленительным и странным“ мечтаниям, с которыми не сравнится никакая педагогическая „польза“. На глупую шалость ученика педагог мог без злобы вяло уронить: „Вульфиус, какая вы дрянь…“ Но когда в 1905 году начались студенческие волнения, директор не посчитал нужным вмешиваться в дела своих подопечных. На одном из педагогических собраний он так и сказал: „Считаю учеников гимназии благородными, независимо от их взглядов“. Он был популярен среди гимназистов, но высшие чины его недолюбливали. Все это не прошло для Анненского даром, в 1906 году он был удален с директорского поста, о чем переживал до конца жизни».

Друзья любили его. Но, по словам одного из них, он все равно «жил среди пустыни, в которую сам обратил свой мир». И даже человеческая теплота не могла побороть это ощущение внутренней скорби. В то же время он был внимателен к окружающим. Несмотря на то что постоянно обдумывал новые стихи, он любил занимать общество экспромтами и шутками. Например, один знакомый Анненского славился тем, что в гостях ставил перед собой бутылку вина и молчал. Или задавал собеседникам этакие наивные вопросы: «А где ваша матушка живет? А сколько ей лет?» Однажды он задумал устраивать у себя литературные «понедельники». Анненский пришел в гости в первый раз и весь вечер проскучал. А во второй раз придумал развлечение. Когда все собрались, он заявил: «Знаете, господа, до чего я додумался? Гомер – ничтожный поэт!» Все, конечно, набросились на Анненского. Особенно разгорячился хозяин. После долгого спора Анненский признался, что сказал это намеренно: пронять хозяина можно было лишь подобной дозой дерзости.

Анненский женился по большой любви, на Надежде Хмаро-Барщевской, женщине гораздо старше себя. Стал отцом ее сыновей. Один из них впоследствии женился на некой Ольге Петровне, принявшей фамилию Хмаро-Барщевская. Уже после смерти Анненского она призналась, что любила именно его и что только ее одну любил он. «Мы повенчали души здесь, в Царском Селе», – писала она. Их платоническая любовь, возможно,

напоминала и другие увлечения поэта. Анненский умел дружить с женщинами, восхищался их античной красотой, часто писал романтические и нежные письма. Анна Ахматова однажды ехидно заметила: «Когда Анненский увлекался какой-то дамой, жена продавала очередную березовую рощу и отправляла его в Швейцарию, откуда он возвращался „исцеленный“».

В Царском Селе Анненский издал свой первый сборник стихов «Тихие песни». Книга была подписана псевдонимом Ник. Т-о. Эти несколько букв не только входили в имя Иннокентий, но прочитывались как местоимение НИКТО. Так назвал себя мудрый Одиссей, пытаясь спастись из пещеры Циклопа. И так обозначил свое имя поэт, заново прокладывающий свой путь в творчестве. На публикацию откликнулись крупные стихотворцы: Брюсов – холодно-снисходительно, Блок – сдержанно-сочувственно. Анненский воспринял удар достойно: «Нисколько не смущаюсь тем, что работаю исключительно для будущего».

Поэзия Анненского долгое время была известна лишь небольшому кругу близких ему людей. В печати он начал выступать в 1880-е годы с рецензиями, критическими статьями, заметками на педагогические темы, причем эти выступления носили чисто академический характер. В начале 1890-х годов Анненский приступил к переводу трагедий Еврипида – первому полному стихотворному переводу на русский язык одного из величайших драматургов Древней Греции. В Царском Селе он продолжал эту работу, здесь же она была и завершена.

В 1909 году поэт познакомился с Сергеем Маковским, который в то время организовывал литературно-художественный журнал «Аполлон». Долгожданный сборник стихов «Кипарисовый ларец», по несправедливости судьбы, был издан только после смерти поэта. Именно эти стихи принесли Анненскому мировую известность. Много лет спустя, прогуливаясь вдоль Невы с начинающей писательницей Ниной Берберовой, Николай Гумилёв среди прочих ценных книг подарит ей свои произведения, книги Сологуба, Кузмина и «Кипарисовый ларец» Анненского как пример поэтической классики. Нина Берберова, правда, эти книги не приняла, уж больно дорогим ей показался подарок. А Гумилёв от обиды высоко поднял их над головой да и зашвырнул в Неву.

Как многие поэты, Анненский не знал славы при жизни, а умер неожиданно, от паралича сердца, упав на ступеньки Царскосельского вокзала.

А тот, кого учителем считаю…
Как тень прошел, и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,

Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Того, что с нами позже совершилось,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся…
Анна Ахматова

Николай Гумилёв 1886 – 1921 «Сады моей души»

«Гумилёв говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него. Так вот он какой. Блок – его портрет висит у меня в комнате – такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов, и Ахматова… Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать. Я растерянно смотрю на Гумилёва», – писала поэтесса Ирина Одоевцева, его ученица, вспоминая о том, как впервые познакомилась с ним. В 1911 году Гумилёв организовал литературную группу «Цех поэтов», позже стал основателем нового направления – акмеизма, а тогда, в 1918 году, он впервые читал лекцию по поэзии. «Гумилёв, действительно, явился, – писала Одоевцева, – именно „явился“, а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид». Много месяцев спустя Гумилёв со смехом признавался Одоевцевой, каким страданием была для него эта первая в его жизни, злосчастная лекция:

«Что это было! Ах, Господи, что это было! Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в „Живом Слове“. Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта – формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью, проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде – все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши – и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул».

Главная любовь в жизни Николая Гумилёва, таинственная и мучительная, связана с великой поэтессой, его будущей женой – Анной Ахматовой. Они познакомились в Рождественский сочельник. Тогда четырнадцатилетняя Аня Горенко была стройной девушкой с огромными серыми глазами, резко выделявшимися на фоне бледного лица и прямых черных волос. Гумилёв, в то время пылкий юноша, подражал Оскару Уайльду. Он носил цилиндр, завивал волосы и даже слегка подкрашивал губы. Иногда критики говорили, несколько цинично, что «Гумилёву не хватало одной детали»: все подобные герои

непременно были поглощены роковой страстью. На роль жестокой возлюбленной Анна Горенко подходила идеально. Ее необычная внешность притягивала поклонников, к тому же Анна не питала к Николаю ответных чувств, а была влюблена в репетитора из Петербурга – Владимира Голенищева-Кутузова. Однако после продолжительной разлуки, возможно осознав, что отношение Гумилёва искренно и глубоко, Анна отправила ему письмо. Вероятнее всего беспокойство Ахматовой было связано с попыткой Гумилёва покончить с собой. Из «Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой» Вадима Алексеевича Черных: «На Пасху Гумилёв, в отчаянии от ее (Анны Ахматовой) нежелания всерьез отнестись к его чувству, пытался покончить с собою. Потрясенная и напуганная этим, она рассорилась с ним, и они перестали встречаться». Много позже, уже в пожилом возрасте, в записных книжках Ахматова сделает запись: «На Пасху 1905 – первая угроза самоубийства. Первый разрыв».

В 1905 году Анна переехала в Евпаторию. В написанных спустя очень много лет заметках Ахматовой «О Гумилёве» о переписке тех лет сказано так: «Нашу переписку (сотни писем и десятки телеграмм) мы сожгли, когда женились, уже понимая, что это не должно существовать». Итак, основная загадка в отношениях между Ахматовой и Гумилёвым того времени лежит в том, что о них можно лишь строить предположения, ведь в число всей уничтоженной переписки и стихов попали почти все «евпаторийские» стихи и письма. Насколько богаче оказалось бы литературное наследие Евпатории, если бы они дошли до нас! По оценкам специалистов, стихов могло быть не менее сотни.

По одним сведениям, поэт в это время с Анной не общался, но поддерживал дружеские отношения с ее старшим братом Андреем. Гумилёв готовил книгу стихов «Путь конквистадора», которую издал на средства родителей в октябре 1905 года. Но многие стихи были посвящены Ахматовой, а некоторые – навеяны мотивами моря, поэтому вполне вероятно, что Гумилёв мог приезжать летом в Евпаторию в тот год:

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.

Потом шли бесконечные переезды и встречи. Отъезд Гумилёва в Париж биографы датируют началом июля 1906 года. Известно его письмо поэту Брюсову, тогдашнему законодателю мод в поэзии. Николай писал ему из Царского Села 15 мая 1906

года: «Летом я собираюсь ехать за границу и пробыть там лет пять».

Мог ли он в таком случае перед отъездом не повидаться с Анной? Ведь по-прежнему многие его стихи посвящались ей. К тому же Гумилёв с детства воспитывал в себе упорство, смелость в преодолении трудностей. Он долго добивался взаимности, приходил в отчаяние, несколько раз пытался свести счеты с жизнью, увлекался другими женщинами, но снова и снова возвращался к своей любимой с очередным предложением.

По версии Павла Лукницкого (поэта и прозаика, собирателя материалов об Ахматовой и Гумилёве): «В 1905 году Николай Степанович сделал Анне Ахматовой предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались и не виделись в течение года – полутора лет, даже не переписывались. Осенью 1906 года Анна Ахматова почему-то решила написать письмо Николаю. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка». Однако, по воспоминаниям близкой подруги Ахматовой Валентины Срезневской, «Аня никогда не писала о любви к Гумилёву, но упоминала о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам».

Осенью 1906 года Анна жила уже в Киеве у родственников, училась в гимназии, стихов не писала. Гумилёв же в Париже нашел друзей и единомышленников, в конце 1906 года они задумали издавать журнал «Сириус». Из письма Анны к Сергею Штейну от 2 февраля 1907 года: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилёва. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой». Но дальнейшие строки будто списаны с плохой мелодрамы: «Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! Дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.

И вот я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили ни где, ни когда он произойдет. Это – тайна, я даже Вале Срезневской ничего не написала».

Срезневская писала: «Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих „сизых голубков“. Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны – для самоутверждения как

свободной от оков женщины; с его стороны – желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не подчиняющейся никому». Их союз не укрепился и с рождением сына. Лев Николаевич Гумилёв, будущий ученый-историк, появился на свет 1 октября 1912 года. Воспитывался он у родных Гумилёва.

Ахматова и Гумилёв развелись в августе 1918 года. Но в заметках «О Гумилёве» она писала: «Когда в 1916 г. я как-то выразила сожаление по поводу нашего в общем несостоявшегося брака, он сказал: „Нет – я не жалею. Ты научила меня верить в Бога и любить Россию“». Оба сохранили навсегда уважение друг к другу, оба умерли в России.

При советской власти Гумилёв ничего не изменил в своих взглядах, открыто заявлял о себе как монархисте. И хотя в политику никогда не вмешивался, в 1921 году был обвинен в соучастии в монархическом заговоре, «Таганцевском деле», и расстрелян 25 августа того же года вместе с другими 60 обвиненными. По мнению Ахматовой, он был невиновен и оказался жертвой провокации. Скорее всего, так и было, а после ареста дело просто сфабриковали. По расхожим понятиям, для своего сына Анна не была образцовой матерью, но, тем не менее, сумела передать ему главное – то, что он сын своего отца. Вот рассказ самого Льва Гумилёва о том, из-за чего он, студент университета, был арестован в 1938 году и попал в лагерь: «Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. „Поэт писал про Абиссинию, – восклицал он, – а сам не был дальше Алжира… Вот он – пример отечественного Тартарена!“ Не выдержав, я крикнул профессору с места: „Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!“ Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: „Кому лучше знать – вам или мне?“ Я ответил: „Конечно, мне“. В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я – сын Гумилёва. Все на меня оборачивались и понимали, что мне, действительно, лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Первый допрос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского».

Многие стихотворения Николая Гумилёва – «мысленный разговор с Ахматовой». Внутренняя связь обоих поэтов оставалась всегда. А неудачных подражательниц поэтессы, которых называл «подахматовками», Гумилёв любил высмеивать: ведь они порой

практически вторили ахматовскому «я на правую руку надела перчатку с левой руки» такими перлами, как «я туфлю с левой ноги на правую ногу надела». Так и остались эти воспоминания на долгие годы, порой счастливые, порой трагичные, всегда – живые.

Как странно – ровно десять лет прошло,
И не могу не думать я о пальмах,
И о платанах, и о водопаде,
Во мгле белевшем, как единорог.

Анна Ахматова 1889 – 1966 «Слава тебе, безысходная боль!»

Анна Ахматова… Гордая, мудрая, поистине демоническая женщина, по воспоминаниям Анатолия Наймана, «бывала капризна, деспотична, временами вела себя как будто напоказ, как будто прибавляла к явлению „Анна Ахматова“ все новые и новые восторги читателей, робость и трепет поклонников, само преклонение как определяющее качество отношения к ней». Дружба с Фаиной Раневской, а также некоторые диалоги, которые они вели при встречах, возможно, как зеркало, проявляют то достоинство, с которым через войну, революцию, аресты, смерти и горе пронесла эта великая женщина.

«Шведы требуют для меня нобелевку, – сказала она как-то Раневской и достала из сумочки газетную вырезку. – Вот, в Стокгольме напечатали».

«Стокгольм, – произнесла Раневская. – Как провинциально!»

Ахматова засмеялась:

«Могу показать то же самое из Парижа, если вам больше нравится».

«Париж, Нью-Йорк, – продолжала та печально. – Все, все провинция».

«Что же не провинция, Фаина?»

Тон вопроса был насмешливый: Ахматова сама уже смеялась и над Парижем, и над серьезностью собеседницы.

«Провинциально – все, – отозвалась Раневская очень серьезно. – Все провинциально, кроме Библии».

Так и хочется прибавить: и кроме поэзии Анны Андреевны.

Анна Андреевна Горенко, известная под псевдонимом Ахматова, родилась в 1889 году под Одессой. Ее отец в то время был отставным инженер-механиком флота. В раннем ее детстве родители перебрались в Царское Село. Сначала они жили в так называемом «Холодном доме», на Широкой улице, недалеко от вокзала. Потом в доме Шухардиной, по соседству с Юрием Антоновским, переводчиком Ницше и мировым судьей. Ахматова нередко бывала на Конюшенной улице, в доме Кардовских. Катя Кардовская называла Анну Андреевну «двуликим Янусом». Утром – домашняя, веселая, ведущая задушевные разговоры. Вечером – совершенно неприступная, царственная, загадочная.

Марина Цветаева когда-то назвала Анну Ахматову «царскосельской музой». В этом «пленительном городе загадок» поэтесса жила до 16 лет, здесь училась в Мариинской женской

гимназии. «Гимназией я всегда тяготилась, – вспоминала Анна Андреевна, – училась в младших классах плохо, потом хорошо. Помню, как принесла в гимназию „Стихи о Прекрасной Даме“ Блока, и первая ученица сказала мне: „И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца?“» Анна Ахматова тогда не ответила.

Царское Село для Ахматовой – это не только детство, но Пушкин и поэзия. Слепок руки поэтессы, кстати, хранится в Историко-литературном музее города Пушкина. Он сделан по просьбе Фаины Раневской. Актриса хорошо знала, насколько пылко Анна Андреевна относится к Пушкину. Даже однажды позвонила поэтессе, взволнованно доложив: «Мне приснился Пушкин!» Ахматова сразу же ответила: «Еду немедленно!» Все свои многочисленные рукописи и документы Ахматова подписывала словами: «В Пушкинский Дом». Как говорил известный филолог Борис Томашевский: «Ваш роман с Александром Сергеевичем, Анна Андреевна, завершится в Пушкинском Доме!» Так и получилось, многие рукописи перешли именно туда.

Анна Андреевна Ахматова не любила рассказывать подробности своей достаточно богатой личной жизни, многие письма и стихотворения были поэтессой уничтожены, поэтому об истинном положении вещей можно только догадываться. С поэтом Николаем Гумилёвым Анна познакомилась тоже в Царском Селе, в 1904 году, в сочельник. Он стал ее первым мужем и отцом ее единственного сына, открыл ей путь в поэзию. Гумилёв настойчиво добивался расположения Анны, в какие-то моменты был на пороге самоубийства, а однажды написал:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью…

Гумилёв, действительно, по приглашению поэта Владимира Эльснера приехал в Киев, чтобы выступить на литературном вечере. В зале, где он читал стихи, присутствовала и Анна Горенко. После окончания вечера Гумилёв пригласил ее в гостиницу «Европейская» пить кофе. Там он в который раз сделал ей предложение и на этот раз удивительно легко получил согласие Анны Андреевны. В 1910 году Анна и Николай обручились. Но их союз оказался недолговечен. В августе 1918 года они развелись. В том же 1918 году Ахматова вышла замуж за ученого-ассиролога и поэта Владимира Шилейко. О браке с Шилейко, по словами поэта и ученика Ахматовой Анатолия Наймана, «она говорила как о мрачном недоразумении, однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к

бывшему мужу, тоном, нисколько не похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: „Это все Коля и Лозинский: «Египтянин! египтянин!..» в два голоса. Ну я и согласилась“». Владимир Шилейко был замечательный ассиролог и переводчик древневосточных поэтических текстов. Перед революцией он был воспитателем детей графа Шереметева и рассказывал Ахматовой, как в ящике письменного стола в отведенной ему комнате, издавна предназначавшейся для учителей, обнаружил папку с надписью «Чужие стихи» и, вспомнив, что в свое время воспитателем в этой семье служил Вяземский, понял, что папка его. В эту же комнату Шилейко привез Ахматову после того, как они прожили тяжелую осень 1918 года в Москве. Посмеиваясь, Анна Андреевна рассказывала такой эпизод об этом замужестве. В те времена, чтобы зарегистрировать брак, супругам достаточно было заявить о нем в домоуправлении: он считался действительным после того, как управдом делал запись в соответствующей книге. Шилейко сказал, что возьмет это на себя, и вскоре подтвердил, что все в порядке, сегодня запись сделана. «Но когда после нашего развода некто, по моей просьбе, отправился в контору уведомить управдома о расторжении брака, они не обнаружили записи ни под тем числом – которое я отчетливо помнила, – ни под ближайшими, и вообще ничего».

Николай Владимирович Недоброво был другом и вдохновителем поэтов начала века. С Ахматовой его связывала тесная дружба. Однажды она даже сказала о поэте: «А он, может быть, и сделал Ахматову». Анна Андреевна считала, что его статья в журнале «Русская мысль» наиболее точно отражает суть ее поэзии: «Нельзя сказать об Анне Ахматовой, что ее поэзия – поэзия несчастной любви. Такие сильные в жизни, такие чуткие к любовным очарованиям женщины, когда начинают писать, знают только одну любовь. Мучительную, болезненно-прозорливую и безнадежную».

В 1914 году Недоброво познакомил Ахматову со своим давним и самым близким другом Борисом Анрепом. Вскоре между ними начался роман, и к весне следующего года Анреп вытеснил Недоброво из ее сердца и стихов. Недоброво переживал двойную измену болезненно и навсегда разошелся с любимым и высоко ценимым до сей поры другом. Анреп использовал каждый отпуск или командировку с фронта, чтобы увидеться в Петрограде с Ахматовой. В один из дней Февральской революции он, сняв офицерские погоны, с риском для жизни прошел к ней через Неву. Он сказал ей, что уезжает в Англию, что любит «покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». Они простились, Анреп уехал в Лондон, а в

1923 году Ахматова написала:

Тому прошло семь лет. Трагический октябрь,
Как листья желтые, сметал людские жизни,
А друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

По словами Анатолия Наймана, Анреп стал для Ахматовой чем-то вроде «трубадурской „дальней любви“, вечно желанной и никогда не достижимой. За границей он получил известность как художник. В 1965 году, после чествования Ахматовой в Оксфорде, они встретились в Париже. Вернувшись оттуда, Ахматова сказала, что Анреп во время встречи был деревянный, кажется, у него не так давно случился удар»: «Мы не поднимали друг на друга глаз – мы оба чувствовали себя убийцами».

А были в судьбе Ахматовой и люди, соприкосновение с которыми, по словам некоторых исследователей, даровало ее «центральной судьбе возможность быть тем, чем она для нас впоследствии стала». Николай Пунин так и писал: «Я благодарен ей за то, что она сделала мою жизнь второстепенной. И как хорошо, что я был вторым. Я по ней знаю, по той величественной тени, которую она кидала на меня, как трудно и опасно быть первым». Блестящий художественный критик, исследователь, музейный работник, он оставил в наследство работы по византийскому и древнерусскому искусству, японской гравюре, русским художникам. Но самое, пожалуй, ценное – дневники и письма, собранные уже после его смерти. В основе книги – около трех десятков пунинских тетрадей: дневниковые записи, фрагменты статей, письма, уникальные фотографии, большей частью самой Ахматовой, сделанные Пуниным. Они прожили вместе мучительную – в страсти и сомнениях – жизнь. А в результате: «Ан победила в этом пятнадцатилетнем бою». Ан, Акума – так ласково называл Пунин Ахматову. Любовь и преклонение перед ней – сквозь самые чистые, светлые страницы книги: «зачем я и она в разных телах», «мне физически больно, когда ты больна», «Анна, имя милое… какая во мне сейчас тишина… зову тебя, зову по имени, и мне становится все тише и спокойнее», «знаешь что, Ан, милый, на вопрос: могу ли я без тебя? – я бы ответил – без тебя не бываю», «неужели же эта любовь нечиста? Какая же тогда чиста?», «люблю, какая ты есть», «мир мой люблю тобою», «будь только жива»… Пунин был арестован в 1949 году и в 1953 году умер в лагере. У Ахматовой хранилась фотография ровного поля, утыканного геометрически правильными рядами табличек: колышек с прибитой фанерной дощечкой и на каждой номер и еще несколько цифр… Лагерное кладбище, предположительно то место, где зарыто тело Пунина.

Судьба Ахматовой была полна горя и лишений. Сама поэтесса не была в заключении или изгнании, но репрессиям были подвергнуты трое близких ей людей (единственный сын Лев Гумилёв провел в лагерях более 10 лет):

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

По воспоминаниям современников, при общении с Ахматовой возникало отчетливое ощущение трех временных потоков, как будто перед вами появлялись тени людей, почти материализующихся в ее памяти. Ее поэзия была также полна «чужих голосов». Одно время среди литературоведов даже началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроигрышным почти всегда. Кажется, что Ахматова читала все. Как вспоминал Корней Чуковский, «свою каждую любимую книгу она читала и перечитывала по нескольку раз, возвращаясь к ней снова и снова… Ее отзывы о книгах, писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. В них сказывался свободный, проницательный ум, не поддающийся стадным влияниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смысла, причудливой меткостью ее приговора». Не менее едкими и остроумными были любые комментарии поэтессы. Например, когда сосед Ахматовой, молодой актер «Современника» Борис Ардов, проходил мимо из ванной с «Братьями Карамазовыми» под мышкой, она могла с деланым видом бросить собеседнику: «Вы видели? Достоевский!» На удивленный вопрос: «И что?» – продолжала: «Как что? Маяковский за всю жизнь не взял в руки ни одной книги, потом вдруг прочел „Преступление и наказание“… Чем это кончилось, вы знаете». И, конечно же, жизненный уклад Ахматовой был далек от быта. По словам Корнея Чуковского, поэтесса Анна Андреевна «не расставалась только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее „вечные спутники“: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, – все эти „предметы роскоши“ только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой. То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться… В 1964 году, получив премию Таормино, она закупила в Италии целый ворох подарков для своих близких и дальних друзей, а на себя истратила едва ли двадцатую часть

своей премии».

Николай Недоброво 1882 – 1919 «Победившее смерть слово»

Николай Недоброво – близкий друг Анны Ахматовой, один из лучших критиков ее произведений. Ему посвящены несколько стихотворений поэтессы и отступление в «Поэме без героя», заканчивающееся:

Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

Ахматова говорила, что Недоброво считал себя «одной из центральных фигур в картине, которая впоследствии была названа Серебряным веком, был уверен, что его письма будут изданы отдельными томами».

Николай Владимирович Недоброво прожил короткую жизнь, всего тридцать восемь лет. При жизни не было издано ни одного его стихотворного сборника. Но среди литераторов он прослыл блистательным ценителем поэзии. Так, в 1911 году Александр Блок прислал ему свою книгу «Ночные часы» и получил отзыв: «Дорогой Александр Александрович, позвольте мне от души благодарить вас за пересылку „Ночных часов“. Истинный ревнитель словесности, я, конечно, нашел в книге несколько внешних погрешностей, но я упивался естественной напевностью стихов. Вы можете 3 раза поставить в рифму один и тот же глагол и, вопреки правилам (для тех, кому они должны заменять уши), сделать стихи чарующими именно этим». Его близкий друг Юлия Сазонова-Слонимская (литературовед, историк театра и балета) оставила вот такой необычный словесный портрет Недоброво. В нем сочеталась внешняя сдержанность (доходившая почти до холодности) и внутренняя способность любви и дружбы, почти патетической, доходившей до пламени. Он был чрезвычайно тонок. Запоминались его руки редкой красоты и выразительности. Ослепительный фарфоровый блеск его кожи. Резкие очертания его мужественного лица. В гневе его глаза становились большими и синими, и всегда в этом гневном блистании чувствовалась правда возмущенного духа:

С тобой в разлуке от твоих стихов
Я не могу душою оторваться.
Как мочь? Их пением, не твоих ли слов
С тобой в разлуке можно упиваться!

И лучше б мне и не слыхать о них!
Твоей душою словно птица бьется
В моей груди у сердца каждый стих,
И голос твой у горла, ластясь, вьется.

Николай Недоброво много писал о взаимосвязи поэтического ритма с дыханием человека и его душой. Он считал, что стихотворный ритм непосредственно «осязает» сердце и легкие слушателя. Именно поэтому поэты, наверное, читают стихи тому, с кем душевное общение легко, – в какой-то степени управляют скоростью сердца и дыханием другого человека, воздействуя на что-то близкое к духу: «Какие это прекрасные, в глубине голоса образуемые звуки: „дыхание, душа“!»

Осип Мандельштам 1891 – 1938 «Заблудился я в небе – что делать?»

Осип Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве. Отец его, Эмилий Вениаминович, потомок испанских евреев, выросший в патриархальной семье и подростком убежавший из дома, в Берлине самоучкой постигал европейскую культуру – Гёте, Шиллера, Шекспира, одинаково плохо говорил и по-русски, и по-немецки. Человек с тяжелым характером, он был не очень удачливым коммерсантом и доморощенным философом одновременно. Мать, Флора Осиповна, в девичестве Вербловская, происходила из интеллигентской семьи, превосходно играла на фортепиано, любила Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского и была родственницей известного историка русской литературы и библиографа Семена Венгерова. Осип был старшим из трех братьев.

Вскоре после рождения Осипа семья перебралась в Павловск близ Петербурга, а затем в 1897 году – в Петербург. В 1900 году Осип поступил в Тенишевское училище. Большое влияние на формирование юноши во время учебы оказал преподаватель русской словесности Владимир Гиппиус. В училище Мандельштам начал писать стихи, одновременно увлекшись идеями эсеров.

Сразу же после окончания в 1907 году училища обеспокоенные политической активностью своего сына родители отправили Осипа в Париж учиться в Сорбонне. В 1909 – 1910 годы Мандельштам занимался философией и филологией в Гейдельбергском университете. В Петербурге он посещал собрания религиозно-философского общества, членами которого были виднейшие мыслители и литераторы Николай Бердяев, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, Вячеслав Иванов.

В эти годы Мандельштам сблизился с петербургской литературной средой. В 1909 году он впервые появился на «башне» Вячеслава Иванова. Там же он познакомился с Анной Ахматовой. Поэт стал постоянным посетителем «Бродячей собаки», где иногда выступал со сцены, читая свои стихи. В начале 1916 года в Петроград приезжала Марина Цветаева. На литературном вечере она встретилась с петроградскими поэтами. С этого «нездешнего» вечера началась ее дружба с Мандельштамом, своеобразным «поэтическим» итогом которой стало несколько стихотворений, посвященных поэтами друг

другу.

1 мая 1919 года в киевском кафе «ХЛАМ», где встречалась местная богема, Мандельштам познакомился с двадцатилетней Надеждой Хазиной, которая в 1922 году стала его женой. Ему, уже известному поэту, шел 29-й год, а ей, киевской художнице, было всего 20 лет. Тоненькая, глазастая, с короткой стрижкой, она держала себя в духе того революционного времени – дерзко и безоглядно. Ей приглянулся Осип Мандельштам, и она смело отправилась к нему в гостиничный номер. «Кто бы мог подумать, – писала Надежда Яковлевна впоследствии, – что на всю жизнь мы окажемся вместе?..»

Слух о том, что Мандельштам женился, взбудоражил почти всех. Это была невероятная новость. Неужели вольная птица сама полезла в клетку? Не может быть! Одного близкого знакомого Мандельштама спросили: «На ком он женился?» «Представьте, на женщине», – последовал ответ.

В книге воспоминаний Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» дан портрет молоденькой Надежды Мандельштам: «Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек в коричневом костюме. Коротко постриженный. С папироской в зубах». Сегодня это мало кого шокировало бы, но тогда!..

Весной 1922 года Мандельштам вернулся с юга и поселился в Москве. Осип и Надежда стали совершенно неразделимы. Она была вровень своему мужу по уму, образованности, огромной душевной силе. Она, безусловно, являлась моральной опорой для Осипа Эмильевича. Тяжелая, трагическая его судьба стала и ее судьбой. Этот крест она сама взяла на себя и несла его так, что, казалось, иначе и не могло быть. «Осип любил Надю невероятно и неправдоподобно», – говорила Анна Ахматова.

Кстати, с Ахматовой семья Мандельштамов очень дружила. Надежда Мандельштам писала об одном казусе в своих воспоминаниях:

«Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. „Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?“ – спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: „А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь“. Так появились стихи:

А после на дровнях, в сумерки,
В навозном снегу тонуть.

Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

Но этого путешествия ей совершить не пришлось: „Вас придерживают под самый конец“, – говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина. На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева – он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело – он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: „Вы ездите со скоростью Анны Карениной“, – когда однажды опоздал поезд, и: „Что вы таким водолазом вырядились?“ – в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в „Цехе поэтов“. „Цыц, – кричала я. – Не могу жить с попугаями!“».

Мандельштам соединил в себе «суровость Тютчева с ребячливостью Верлена». И как все гениальные люди, он был чуточку не от мира сего. Мать Максимилиана Волошина даже называла его «мамзель Зизи». Как-то в Коктебеле в молодые годы Мандельштам сделал вид, что он немец, и, садясь в лодку, сказал лодочнику с акцентом: «Только, пожалуйста, без надувательства парусов». Нуждаясь в деньгах, он однажды подал заявление в группком писателей с просьбой выдать ему аванс на свои собственные похороны. В быту Мандельштам был неаккуратен, забывчив и рассеян – словом, настоящий поэт.

Все это надо иметь в виду, когда рассказывают о долгой совместной жизни Осипа и Надежды. Надежде Яковлевне приходилось все это терпеть и выносить, ухаживая порой за мужем как за маленьким ребенком (в поэзии – гигант, в быту – ребенок, типичная ситуация). И еще один аспект их семейных отношений – ревность. Мандельштам любил женщин и увлекался ими не раз. Так, в 1933 году он увлекся молодой поэтессой Марией Петровых. Мандельштам пригласил ее в гости в дом, а она, несмотря на строгий уговор, опаздывала. Надежда Яковлевна подтрунивала над мужем по поводу очередного звонка в двери: «Что, Ося, опять не твоя красавица? Как же, придет она вовремя. Твоя Машенька любит, чтоб ее подождали». Мандельштам, однако, не смущался подобных уколов-фраз. Он, как обычно, был распахнут настежь и не скрывал ничего. Своим друзьям он говорил: «Наденька – умная женщина и все понимает. И потом, у

нас с ней одинаковый вкус, и все мои женщины ей тоже нравятся. Жили же Брики с Маяковским, а Гиппиус и Мережковский – с Философовым». Борис Пастернак после таких откровений изменился в лице и быстренько покинул квартиру Мандельштамов.

Переживать увлечения мужа (или жены) – это всегда тяжело. Частенько именно из-за этого рушатся брачные союзы. Надежда Яковлевна все это достойно выдержала. Однако самое сложное в совместной жизни были, безусловно, не внутренние взаимоотношения, а преследование поэта властью, два его ареста, лагерь и последовавшая затем смерть, и далее невозможность в течение долгих лет опубликовать его наследие:

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

До первой ссылки Мандельштам мечтал: «Мы откроем лавочку. Наденька будет сидеть за кассой… Продавать товар будет Аня [4] ». «А вы что будете делать, Осип Эмильевич?» – спрашивали его. «А там всегда есть мужчина. Разве вы не замечали? В задней комнате. Иногда он стоит в дверях, иногда подходит к кассирше, говорит ей что-то… Вот я буду этим мужчиной».

13 мая 1934 года Мандельштам был арестован. Приговор – три года ссылки в Чердыни. После хлопот Ахматовой и Пастернака Чердынь заменяется Воронежем. Вот как Надежда Мандельштам описывала одно из посещений Мандельштама в тюрьме:

«Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант – высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая

дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой „внутренней“ профессии еще до того, как я замечаю их взгляд, – голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей – я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, эта особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом – первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс. Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово „расстрел“. Каким образом допустили эту встречу? По слухам, „внутри“ приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры будто разделены на секторы, и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: „Как не страх? А что еще?“ Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина. Рассказы о технической оснащенности – они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации, – прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на „упрощенный допрос“. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. „Теперь все ясно, – сказала та же Анна Андреевна, – шапочку-ушаночку и фьють – в тайгу“. Отсюда:

Там, за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Тень мою ведут на допрос…

Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств – „внутри“ отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки. Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино… Когда она приехала? Я назвала день. „Значит, ты все время была дома?“ Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно – ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный – он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно. Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама по себе. Требовать там можно только по наивности или от

бешенства».

Когда Мандельштама сослали в Воронеж, Надежда Яковлевна отправилась с ним. Мандельштам болел, ему было плохо. Как он писал, «тем, что моя „вторая жизнь“ еще длится, я всецело обязан моему единственному и неоценимому другу – моей жене».

После ссылки Мандельштамам жить в Москве и Ленинграде было запрещено. Они скитались вблизи Москвы, жили одно время в Калинине. Последний раз его арестовали 2 мая 1938 года. В официальном извещении было сказано, что он умер 27 декабря того же года в лагере под Владивостоком.

После гибели поэта Надежда Яковлевна вела жизнь затравленного зверя. В Москве находиться было нельзя, да и дома не было. Она жила то в Малоярославце, то в Калинине. Во время войны Анна Ахматова перетащила ее в Ташкент. В одном из писем к Ахматовой Надежда Мандельштам писала: «В этой жизни удержала только вера в Вас и Осю».

Заочно окончив университет, Надежда Яковлевна получила диплом преподавательницы английского языка – хоть маленькое подспорье. После войны жила в Ульяновске, Чите, Чебоксарах, Пскове и лишь на старости обрела однокомнатную кооперативную квартирку в Москве, на первом этаже дома на Большой Черемушкинской улице.

Как жила все эти годы? Боролась и даже пыталась построить новую жизнь с литератором Борисом Кузиным. «…Я виновата, что не умела быть одна, – признавалась она в письме 15 апреля 1939 года, – и я впредь должна уметь быть одной. Никаких спасательных поясов». Надежду Яковлевну можно понять: в ее положении отвергнутой и гонимой было тяжко жить одной. «Я устала от разлуки, – писала она Анне Ахматовой. – Пришлите мне что-нибудь – письмо, слово, улыбку, фотографию, что-нибудь. Умоляю…»

Целью всей жизни Надежды Яковлевны было собирание и сохранение архива Осипа Мандельштама. О том, как она искала тексты стихов поэта, как их переписывала и раздавала друзьям в надежде, что именно таким способом они выживут (многие стихи погибли вместе с гибелью людей), как хранила архив в старой шляпной коробке, – это настоящий детективный роман. В 1973 году вышла первая книжечка Мандельштама – совсем не такая, как хотела Надежда Яковлевна, и это стало «точкой безумия». Она жаждала полного Мандельштама, не оболганного и не исковерканного, с признанием его поэтического величия. И такие книги появились, правда, сначала не у нас, а на Западе. Надежда Яковлевна успела написать и свои воспоминания, резкие и непримиримые.

Борис Пастернак 1890 – 1960 «К ее рукам, как бумеранг»

Борис Пастернак родился в Москве 29 января (10 февраля) 1890 года. Отец его, Леонид Осипович Пастернак, был известным художником, преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества, иллюстрировал первую публикацию романа Льва Толстого «Воскресение» в журнале «Нива». Мать поэта была профессиональной пианисткой. Борис Пастернак рос в атмосфере искусства, с детства видел художников, музыкантов, писателей, с которыми общалась и дружила его семья. Гостями Пастернака бывали Лев Толстой и Ключевский, Рахманинов и Скрябин, Серов и Врубель. Будущий поэт учился в классической гимназии и на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета, окончил его в 1913 году. Еще гимназистом, а затем студентом он прошел предметы композиторского факультета консерватории; все ему прочили стезю музыканта, его композиторские опыты одобрял Скрябин. Впрочем, весной 1912 года Пастернак отправился в Марбург (Германия), где весь летний семестр занимался в университете философскими дисциплинами. Но затем, совершив поездку в Италию, он вернулся в Москву. Оборвав занятия музыкой и философией, Пастернак осознал себя поэтом.

Анна Ахматова когда-то сказала, что «в Пастернаке всегда останется его юность». Он был молод душевно, обладал большим темпераментом. Иногда сильно гневался. Высокий, с крупными чертами лица, несколько нескладной фигурой, крепкими руками и нервными, очень умными глазами тридцатилетний поэт однажды принес писателю Борису Зайцеву свою рукопись, отрывок в прозе. Рукопись, по словам Зайцева, «тоже походила видом на хозяина своего: написано крупным, размашистым почерком, нервным и выразительным. Пришел он как младший писатель к старшему показать образец своей прозы». Та рукопись была отрывком из большого художественного повествования, главы которого позднее вошли в повесть «Детство Люверс», изданную гораздо раньше «Доктора Живаго».

В 1920-е годы Пастернак полностью отдался поэтическому творчеству. Писал он и прозу. По хлестким воспоминаниям Зайцева, он сильно выделялся в общей атмосфере богемной жизни того времени: «Пастернак был уже взрослым, но молодым, когда началась революция… Все ранние годы революции позиция Пастернака была довольно странная. Он сидел где-то безмолвно.

Ни в каких выступлениях и бесчинствах футуристов и имажинистов участия не принимал. Не выступал в подозрительных кафе, куда набивались спекулянты всякого рода, а „поэты“ типа Маяковского и подручных его громили этих же разжившихся на спекуляциях „нэпманов“. А тем это как раз и нравилось, они аплодировали и хохотали. Такие кафе были очень в моде. Там торговали тайно кокаином и в сообществе низов литературных и чекистов устраивали темные дела, затевались грязные оргии. Это было время Есенина и Айседоры Дункан, безобразного пьянства и общего оголтения. Ни к чему такому Пастернак явно не имел отношения. Кроме его собственной натуры за ним стояла культурная порядочность отца и матери, а вдали где-то легендарная тень Льва Толстого».

Между Пастернаком и другими писателями складывались разные взаимоотношения. Эпистолярный роман между Цветаевой и Борисом Леонидовичем был полон нежности и взаимного уважения. Прочитав «Сестра моя жизнь», она, со свойственной ей полетом, всплеском и восторженностью, написала «на клочки разлетевшуюся от восторга статью»: «Пастернак – большой поэт. Он сейчас больше всех: большинство из сущих БЫЛИ, некоторые ЕСТЬ, он один БУДЕТ. Ибо, по-настоящему, его еще нет: лепет, щебет, дребезг – весь в завтра! – захлебывание младенца, – и этот младенец – Мир. Захлебывание. Задохновение. Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается – точно грудь не вмещает: а-ах! Наших слов он еще не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное – и опрокидывающее. Не Пастернак – младенец, это мир в нем младенец. Самого Пастернака я бы скорей отнесла к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он создан ДО Адама».

А вот с Маяковским у Бориса Леонидовича были весьма непростые отношения. По словам критика и литературоведа Николая Вильмонта, «Маяковский и Пастернак любили друг друга и уж во всяком случае признавали каждого другого большим талантом. Но единомыслия меду ними не было никогда. И не потому, что один из них был – эстетически и политически – левее другого. Пастернак держался достаточно левых убеждений, а в искусстве и в истории ценил преемственность и в отличие от Маяковского отнюдь не „ненавидел“ таких слов, как „соплеменник“ и „скала“. Однако Маяковский, натура властная и настойчивая, нет-нет, а даже иногда „заговаривал“ на „пастернаковский лад“, особенно интонациями и поэтическими ходами».

Николай Вильмонт вспоминает, как однажды присутствовал с

Пастернаком на творческом вечере, где Маяковский читал отрывок из поэмы «Про это»:

Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба.
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
Под записочной рябью себя погребя.

Вильмонт тогда наклонился к Борису Леонидовичу и шепнул: «Но ведь это под вас!» Пастернак испуганно приложил палец к губам, прошептав почему-то по-французски: «Parlez plus bas» [5] . И только после паузы ответил тоже шепотом: «Вы, конечно, правы! Дался я ему!»

Пастернак, уважая Маяковского, однажды обронил: «Его поэзия, такая настоящая, выросшая до размеров il gigante [6] Микеланджело и по праву занявшая первое место на европейском чемпионате поэзии, все же остается русской провинцией, чем-то гениально-доморощенным. Как это он не сбросит с себя всех этих Осипов Бриков и крученых, которые консервируют его недостатки себе на праздную забаву!» С такой же ревнивой неприязнью смотрел и Маяковский на окружение Пастернака.

Со своей первой женой, художницей Евгенией Лурье, Борис Пастернак познакомился, когда ему было уже за тридцать. Утонченная красавица, похожая на прототип женских образов Боттичелли, была самостоятельным и целеустремленным человеком. После свадьбы молодожены поселились в небольшой комнатке уплотненной квартиры на Волхонке, когда-то принадлежавшей родителям Пастернака. Семейная жизнь складывалась непросто. «Обостренная впечатлительность была равно свойственна им обоим, и это мешало спокойно переносить неизбежные тяготы семейного быта», – позже напишет в своих воспоминаниях их сын Евгений. Евгения Владимировна обладала резким, взрывным характером. А душевное состояние поэта целиком зависело от успеха работы, которая его поглощала в данный момент.

С известным пианистом Генрихом Нейгаузом Пастернак познакомился в январе 1929 года. Поэт был представлен его жене, Зинаиде Николаевне. Вспоминая одну из первых встреч с Пастернаком, та написала: «Я всегда была откровенным человеком. И на его вопрос, понравились ли мне его стихи, ответила, что на слух не очень их поняла. На что Борис сказал, что готов писать ПРОЩЕ». Этот сомнительный комплимент

привел Зинаиду Николаевну в восторг. Поэт часто приходил к Нейгаузам в гости и не делал тайны из своего увлечения Зинаидой. Нейгауз отнесся к произошедшему с пониманием – у него самого была вторая семья, где росла дочь – ровесница его младшего законнорожденного сына. Для Евгении Владимировны произошедшее стало трагедией. Но Пастернака уже ничто не могло остановить. «Дорогая Дуся», – нежно называл Пастернак Зинаиду в своих письмах. Вот отрывок из письма поэта от 9 июня 1931 года: «Но что делать мне, я люблю тебя. О, если бы я любил тебя просто, как любят, когда может прийти дама, образованная, и за столом, отказываясь от сыра, давать советы, сияя и соучаствуя, – я, может быть, все это пересилил. Но этой любви нельзя оставить, и ничто не свете не может от нее оторвать. Она так непохожа на то, что становится с высочайшими вещами, когда они попадают к человеку. Ее не надо обдувать метелкой и обтирать тряпкой, беречь увереньями, она парусом развернулась над жизнью, собрала ее в одну бесспорность, украсила смыслом, под ней можно плыть хоть в смерть и ничего не бояться, она дыханье нежности смешала с дыханьем дороги. Ты то, что я любил и видел и что со мною будет».

Много лет спустя, в 1946 году, в редакции журнала «Новый мир» Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской, заведующей отделом начинающих литераторов. За плечами Ивинской – нелегкий жизненный опыт: самоубийство первого мужа, смерть второго и два осиротевших ребенка – семилетняя девочка от первого брака и пятилетний мальчик. Впрочем, жизненные невзгоды никак не отразились на ее внешности. Ольга была необычайно хороша – нежная, женственная, с огромными глазами и золотистыми волосами. Их роман развивался стремительно. Однако Пастернак уходить из семьи не собирался и не мог помыслить о том, чтобы причинять боль своей семье.

Уже в посмертном очерке о Пастернаке Борис Зайцев описывает известную фотографию:

«Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую) держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь – улыбкой любви. Слева совсем юная девушка с приятным русским лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она – юность и привлекательность… Эти двое – Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская… Это Лара „Доктора Живаго“. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки

советской нелитературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей „порядком за меня в жизни достается и досталось“».

Однажды вечером беременную Ольгу Ивинскую увезли на Лубянку. Пастернак был уверен, что Ольгу посадили из-за него, «чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться достаточных оснований для судебного преследования». «Ее геройству и выдержке я обязан тем, что в те годы меня не трогали», – был убежден поэт. Ивинскую, потерявшую в тюрьме ребенка, приговорили к пяти годам лагерей. У Пастернака случился инфаркт.

Первые прозаические наброски «Доктора Живаго» Пастернаком датируются зимой 1909 – 1910 годов. Именно эту книгу писатель считал главным делом своей жизни.

Из «Дневника» Корнея Чуковского (10 сентября 1946 года): «Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, который он пишет сейчас… А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в „Правде“ напечатана резолюция президиума ССП, где Пастернака объявляют „безыдейным, далеким от советской действительности автором“. Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает „печать отвержения“, которой заклеймили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народу».

23 октября 1958 года Нобелевский комитет, как известно, присудил Пастернаку Нобелевскую премию за выдающиеся заслуги в европейской лирической поэзии и продолжение традиций великой русской прозы. Пастернак знал, что его кандидатура с 1946 года обсуждалась уже шесть раз. Телеграммой он благодарил Нобелевский комитет, полагая, что эта награда будет принята как почетный знак признания русской литературы и составит предмет гордости всей страны. Однако из-за преступной неграмотности соратников Хрущева разразился чудовищный скандал, напоминавший возврат к недавно прошедшим временам.

По воспоминаниям сына, Евгения Пастернака, 29 октября Борис Леонидович приехал в Москву и поговорил по телефону с Ольгой Ивинской (которая в тот момент подвергалась шантажу). Затем пошел на телеграф и отправил телеграмму в Стокгольм: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Другая телеграмма была послана в ЦК: «Верните Ивинской работу, я отказался от премии». «Приехав вечером в Переделкино, – писал

Евгений Пастернак, – я не узнал отца. Серое, без кровинки лицо, измученные, несчастные глаза, и на все рассказы – одно: „Теперь это все неважно, я отказался от премии…“» За этим последовало обращение московских писателей к правительству с просьбой лишить Пастернака гражданства и выслать за границу. Высылка незамедлительно последовала бы, если бы не телефонный разговор с Хрущевым Джавахарлала Неру, согласившегося возглавить комитет защиты Пастернака. Чтобы спустить все на тормозах, Пастернаку пришлось подписать согласованный начальством текст обращений в «Правду» и к Хрущеву.

Много лет спустя, в 1989 году, сын поэта Евгений Пастернак на торжественном приеме в Шведской академии в присутствии нобелевских лауреатов, послов Швеции и СССР, а также многочисленных гостей принял от секретаря академии профессора Сторе Аллена Нобелевскую медаль Бориса Пастернака. Зачитали обе телеграммы, посланные Борисом Леонидовичем в 1958 году, а также было официально заявлено о том, что Шведская академия признала отказ Пастернака от премии вынужденным и по прошествии тридцати одного года вручает медаль сыну, сожалея, что лауреата нет уже в живых.

Максим Горький 1868 – 1936 «В этом крике – жажда бури!»

Алексей Пешков известен всему миру под именем Максима Горького. Он родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. С раннего детства в жизнь Алеши вошла музыка. В доме пели старинные песни, мещанские романсы, дядя Алексея был хорошим гитаристом, а двоюродный брат пел в церковном хоре. Учился Алеша хорошо, хотя одновременно с учебой ему приходилось работать – собирать кости и тряпки на продажу. По окончании второго класса мальчику дали «похвальный лист» – «за отличные пред прочим успехи в науках и благонравие» – и наградили книгами (их пришлось продать – бабушка лежала больная, а в доме не было денег).

Алексей перепробовал много профессий: служил посудником на пароходе, ловил птиц для продажи, был продавцом в иконной лавке, работником в иконописной мастерской, десятником на строительстве ярмарки, статистом в ярмарочном театре.

Учиться он хотел всегда. По совету знакомого гимназиста в 1884 году Алексей отправился в Казань, в университет. Но учиться не получилось: жить было не на что. Будущий писатель проходил свой университет на пристанях, в ночлежках, в студенческих нелегальных кружках, где читали Чернышевского и Маркса. Жил среди босяков и оборванцев, перебивающихся случайными заработками.

«…Иногда я… – вспоминал Горький, – не находя работы, добывал кусок хлеба нарушая „священный“ принцип мещанства – принцип собственности: выкапывал картофель на полях, овощи в огородах, питался горохом, случалось свернуть голову курице». Спасли юношу от скользкого преступного пути хорошие книги.

В Казани Горький прожил около четырех лет, работая садовником, дворником, поденщиком. Осенью 1885 года он нанялся в крендельную Семенова – подручным пекаря. Работать у Семенова приходилось по 14 – 17 часов в сутки – за три рубля в месяц. От Семенова летом 1886 года Алексей перебрался в булочную Деренкова. Доходы от нее шли на пропаганду среди молодежи передовых, неугодных правительству идей. При булочной была нелегальная библиотека из запрещенных книг – произведений революционных демократов 60-х годов и народников.

В те годы немало обиженных жизнью, несчастных людей покончило жизнь самоубийством. Были среди них и знакомые

Алексея. И вот 14 декабря 1887 года «Волжский вестник» – газета, выходившая в Казани, – сообщала, что 12 числа в 8 часов вечера «нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков… выстрелил из револьвера себе в левый бок с целью лишить себя жизни. Пешков тотчас же отправлен в земскую больницу, где, при подании ему медицинской помощи, рана врачом признана опасной». В записке, найденной в кармане, было написано: «В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце… Останки мои прошу взрезать и осмотреть, какой черт во мне сидел последнее время».

На короткое время Алексей вернулся на родину. Но в Нижнем жилось трудно – и материально, и душевно. Мучило неумение найти свое место в жизни, разобраться в массе противоречивых впечатлений. Немало страданий принесла большая любовь – к Ольге Юльевне Каминской, жене «политика», недавно вернувшегося из ссылки. Все это гонит Алексея из Нижнего, и он опять пускается в странствия: на Украину, в Бессарабию, Крым, Кубань, Кавказ… Батрачил, кашеварил, добывал соль, рыбачил, даже читал молитвы по покойнику. В херсонской деревне Кандыбово Алексей увидел «вывод». Нагую женщину, обвиненную в измене мужу, привязали к телеге рядом с лошадью. Ее муж, стоя на телеге, не спеша бил хлыстом – раз – лошадь, раз – жену, раз – лошадь, раз – жену… За телегой шла толпа, с любопытством смотревшая на все это. Алексей был, конечно, единственным человеком, который заступился за женщину. Его жестоко избили, до потери сознания, и бросили в придорожную грязь. Проезжий шарманщик отвез его в город Николаев, в больницу. Алексей вернулся в Нижний. В 1892 году вышел его первый рассказ «Макар Чудра». Алексей Пешков стал Максимом Горьким.

В августе 1896 года Горький венчался с Екатериной Павловной Волжиной, дочерью небогатого помещика, который, разорившись, стал управляющим чужих имений. Семья нуждалась в деньгах, и после окончания гимназии Катя работала корректором в «Самарской газете». Живая, веселая, скромная и сердечная, она имела много поклонников, но, к огорчению родителей, которых пугала разница в возрасте (восемь лет), прошлое жениха и разница в образовании, выбрала Горького. «Благодаря Алексею Максимовичу я увидела и узнала бесконечно много. Мне иногда кажется, что я прожила не одну, а несколько жизней, и все они были удивительно интересны», – говорила она.

Екатерина Пешкова всю жизнь была верным другом писателя. За сорок лет она получила от него более 600 писем. После смерти Горького она вела работу по подготовке собраний его сочинений, летописи жизни и творчества, изданию материалов горьковского

архива, писем писателя.

Горький поражал окружающих энциклопедичностью и глубиной знаний, хотя образование его не было систематическим. «Образование: домашнее», – писал он в анкете. Он учился всю жизнь: много читал, жадно вбирал в себя знания, поражая людей, окончивших гимназии и университеты. К его мнению и оценке внимательно прислушивались Станиславский, Шаляпин, Бунин, Бродский и другие писатели, артисты, художники.

Из воспоминаний Владислава Ходасевича:

«Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек. День его начинался рано: вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу – часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек – стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков – красных, желтых, зеленых. Курил он много. Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и исправлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял он в них все опечатки. Случалось – он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал. Часов в семь бывал ужин, а затем – чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты – либо в 501 (говоря словами Державина, „по грошу в долг и без отдачи“), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда

угрюмо и робко спрашивал: „Позвольте, а что были козыри?“ Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил всего больше. Другое дело – партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность – играли по очереди. Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право. На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал плечами и удивлялся: „Да как же не знать, помилуйте?“»

В какой-то момент в жизнь Горького вошла Мария Фёдоровна Андреева. «Я женился церковным браком в 1896 году, и через семь лет по взаимному согласию с женой мы разошлись, – писал Горький в 1906-м. – Церковный развод обставлен в России столь унизительными и позорными формальностями, что мы его не требовали и нужды в нем по условиям русской жизни не имели. С первой женой мы сохраняем добрые отношения, она живет на мои средства, и мы встречаемся как друзья. Со второй женой живу гражданским браком, принятым в России как обычай, хотя и не утвержденным как закон».

Мария Фёдоровна Андреева, дочь главного режиссера Александринского театра, одаренная от природы умом, талантом и красотой, была актрисой МХТа и первой исполнительницей роли Ирины в чеховских «Трех сестрах» (ее знакомство с Горьким произошло в Крыму, когда МХТ приезжал к Чехову). Мария Фёдоровна была не просто актрисой, впоследствии она стала членом большевистской партии. Довольно характерна ее партийная кличка Феномен. Она хранила нелегальную литературу, доставала документы, собирала средства для партийной работы. Положение жены действительного статского советника (штатского генерала) – брак фактически прекратился в 1896 году, – вхожей в дом московского генерал-губернатора, позволяло ей до поры до времени оставаться вне подозрений со стороны царской охранки. В ее квартире скрывался от полиции Николай Бауман; она была переводчицей при встрече Ленина с Каутским в 1907 году. Став женой Горького, Андреева на долгие годы стала его ближайшей помощницей, переводчиком и

секретарем. Любила она его горячо и самоотверженно: «Пока я нужна, – писала она в одном из писем, – пока я могу хоть немного облегчить, помочь, сделать хоть что-нибудь, – для меня не существует вопросов самолюбия, личности, личной боли или слабости – пусть это не покажется… слишком громким. Надо, чтобы ему было легче».

«Удивительный человек, – писал Горький о жене в 1912 году. – Энергии в ней заложено на десяток добрых мужчин. И ума – немало. И – славное, верное сердце». Мария Фёдоровна прожила долгую жизнь и умерла в 1953 году, в возрасте 85 лет. После революции она руководила театрами Петрограда, с 1919 года была комиссаром Петроградского отделения Народного комиссариата внешней торговли, в 1921 году правительство послало ее за границу реализовать отобранные на экспорт художественные ценности – страна голодала, и ей нужны были валюта и хлеб. Позднее она занималась даже экспортом кинофильмов, а в 1931 – 1948 годах руководила московским Домом ученых. Дружеские отношения с Горьким Мария Фёдоровна сохраняла до конца его жизни, хотя их личные судьбы разошлись в 1920-е годы.

Но пока они вместе. В сентябре 1906 года Горький вместе с Марией Фёдоровной отправились в Италию. Они поселились на Капри – небольшом (10 кв. км) островке в Неаполитанском заливе. Круглый год здесь цветут розы. Каждый маленький клочок камня, где есть немного земли и песка, покрыт вечнозеленой растительностью… Лимонные рощи, кипарисы, пальмы… Особенно много самых разнообразных цветов. Вдали дымится Везувий, с моря доносится запах рыбы и водорослей, слышатся песни рыбаков… Здесь, на Капри, вдали от России, благодаря письмам, газетам, книгам Горький чувствовал себя «примерно как бы в уездном русском городке», живо следил за русской жизнью, литературой: «ежедневно окунается в шестнадцать получаемых нами русских газет и волнуется всеми бедами и злобами текущего дня», – как писала Андреева в Россию в 1911 году.

На Капри у Горького побывало много русских людей: революционеры – Ленин, Плеханов, Луначарский, Дзержинский, Герман Лопатин, лично знавший Маркса, Фроленко, более 20 лет проведший в царских тюрьмах, писатели – Бунин, Андреев, Амфитеатров, художники и деятели театра – Репин, Бродский, Станиславский, Шаляпин… Как-то Шаляпин пел по просьбе Горького «Блоху», «Дубинушку», волжские песни, а когда закончил, на дороге и на тропинках возле виллы раздались аплодисменты и крики: Viva Gorki! Viva la musica russa! Ablasso lo

zar! [7]

Долгое время на Капри у Горького жил Зиновий Пешков, брат Якова Свердлова, оказавший ряд услуг большевистской партии. Зиновий еще в 1902 году, перейдя в православие, сменил фамилию Свердлов на Пешков и принял отчество Горького. В Первую мировую войну он вступил добровольцем во французскую армию, потерял правую руку. Принявший французское гражданство, в годы Второй мировой войны генерал Пешков был участником движения Сопротивления и одним из ближайших соратников де Голля. Умер в 1966 году. Согласно его завещанию, письма Горького к нему и другие горьковские материалы (в их числе – черновики романа «Мать») были переданы советскому правительству.

Дом Горького был открыт для всех. Как вспоминала одна из посетительниц писателя: «Кто хотел, кто приезжал на Капри, шел к Алексею Максимовичу и был там принят. Ни одного завтрака, а тем более обеда в семь часов вечера не проходило без пяти-шести посторонних человек, и по праздникам и по обыкновенным дням на большой террасе толпились человек по двадцати разного люда. Помню один ясный весенний день… Компания пестрая, шумная, сидит в плетеных креслах, на перилах у маленьких столиков, едят мороженое, фрукты. Среди этих людей резко выделяется высокая фигура Алексея Максимовича. Он мягко, я бы сказала по-тигриному, ступает, меряет террасу из угла в угол и приятным голосом говорит что-то очень интересное, кажется о цыганке, с которой он писал старуху Изергиль. Вдруг среди публики на террасе движение. Смотрю в сторону, куда обращены все взоры, и вижу, по горной дорожке, ведущей к вилле, двигается белая фигура какого-то поджарого англичанина. Он спокойно пересек сад, взошел на террасу. Ни с кем не здороваясь, окинул взглядом столики и, заметив в тени свободное место, сел, снял шляпу, отер лоб. Нас всех, конечно, поразила такая бесцеремонность незнакомого гостя. Алексей Максимович, опершись о колонну, с любопытством наблюдал пришельца, Мария Фёдоровна, владеющая всеми языками, подошла и любезно спросила, что ему угодно. Англичанин небрежно взглянул на нее и повелительно сказал: „Стакан холодной содовой, яичницу с ветчиной, сыру“. Мария Фёдоровна улыбнулась, переводя Алексею Максимовичу требование англичанина, она высказала предположение, что он, видимо, ошибся, приняв их виллу за ресторан. Но Алексей Максимович не смутился этим и попросил сейчас же подать англичанину просимое. Мария Фёдоровна отдала распоряжение прислуге и отошла в сторону. Англичанин, сильно утомленный тяжелой

прогулкой по горам, опахивался платком, вытянув длинные ноги почти через всю террасу. Алексей Максимович заговорил с кем-то и лишь изредка поглядывал в сторону оригинального гостя. Вскоре завтрак англичанину был подан, он съел все с огромным аппетитом и, вынув деньги, спросил у горничной, сколько уплатить. Кармелла, улыбнувшись, отрицательно покачала головой. Англичанин, не говорящий по-итальянски, оглянулся, ища Марию Фёдоровну. Помня, что она с ним раньше объяснялась по-английски, он пальцем подозвал ее к себе. Мария Фёдоровна, едва сдерживая смех, подошла и сказала, что денег у него не возьмут, так как это вилла Максима Горького, а не ресторан, и обедов здесь не продают. Описать изумление и растерянность англичанина невозможно. Нужно было видеть его досиня покрасневшее лицо, застывшую с деньгами руку и обильную испарину, покрывшую его череп. Низко кланяясь, он на все лады извинялся и просил его простить. Алексей Максимович подошел к нему, протянул руку и, широко улыбаясь, сказал: „Ничего, со всяким может случиться“. Англичанин долго тряс руку Алексея Максимовича, горячо говоря о том, что он не мечтал о такой давно желанной встрече со знаменитым писателем. Он то обращался к Марии Фёдоровне, то к Алексею Максимовичу, уверяя, что гостеприимность русских славится на весь мир, сравнивал с английскими семьями, с их чопорностью. И все извинялся. На другой день англичанин прислал Марии Фёдоровне цветы, с миллионом извинений».

Одной из самых больших трагедий в жизни Горького была ранняя смерть его сына Максима. После приездов Максима на Капри Горький писал сыну после отъезда: «Ты уехал, а цветы, посаженные тобою, остались и растут. Я смотрю на них, и мне приятно думать, что мой сынишка оставил после себя на Капри нечто хорошее – цветы». Сын Горького умер много позже, в 1933 году. (На пути из Крыма в Москву Горький будет в волнении писать внукам: «…Захворал папа… лежит, кашляет. Я накопил для вас новых книжек».) Болезнь Максима прогрессировала, и 11 мая 1934 года Максим, любимый и единственный сын писателя, скончался.

«Смерть сына для меня – удар действительно тяжелый, идиотски оскорбительный, – писал Горький Ромену Роллану. – Перед глазами моими неотступно стоит зрелище его агонии, кажется, что я видел это вчера и уже не забуду до конца моих дней эту возмутительную пытку человека механическим садизмом природы. Он был крепкий, здоровый человек, Максим, и умирал тяжело».

Максим был веселым, остроумным человеком, с тонкой,

отзывчивой душой, обладал чувством юмора. Он много и хорошо рисовал (его талант ценил Константин Коровин), был страстным филателистом, разбирался в технике, любил спорт, виртуозно водил мотоцикл и автомобиль (даже участвовал в автомобильных гонках). Смерть сына надломила писателя, резко ослабело здоровье, не проходила усталость. Максим был не просто сыном, но и близким другом Горького. Когда в 1910 году архангельский гимназист Аркадий Колпаков попросил прислать для издаваемого им рукописного журнала «Гном» рассказ или сказку, Горький отвечал, что это приведет к неприятностям для Аркадия: «Знакомство наше не скрывайте от папы с мамой – с ними надо быть откровенным во всем, если Вы желаете, чтобы они были для Вас хорошими друзьями. Это я говорю не потому, что сам – папа, а потому, что дружба сына с отцом и матерью – превосходнейшее чувство, и я желаю Вам испытать его».

Когда писатель вернулся из Италии на родину, страна стояла на пороге эпохальных перемен. Квартира Горького была своеобразным революционным центром. Но поистине гигантский размах приобрела его общественная и организаторская деятельность уже после Октябрьской революции. Горький руководил издательством «Всемирная литература», нарком просвещения Анатолий Луначарский предоставил ему «полную свободу в организации издательства, как то: в выборе подлежащих изданию книг, в установлении их тиража, в определении характера вступительных статей и примечаний, а также в выборе сотрудников, авторов, переводчиков и служащих издательства…»

В жизни Горького была еще одна, совершенно неординарная женщина. Женщина-легенда. О Муре, баронессе Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг Нина Берберова писала так: «Она прожила с М. Горьким двенадцать лет, но в советском литературоведении данных о ней нет: в трех или четырех случаях, когда ее имя попадается в тексте, подстрочное примечание поясняет, что М. И. Будберг (титул баронессы не упоминается), урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендорф, была одно время секретаршей и переводчицей Горького – видимо, иностранка, которая всю жизнь жила и умерла в Лондоне, Горький посвятил ей свой четырехтомный (неоконченный, последний) роман „Жизнь Клима Самгина“, но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания».

Любовница Герберта Уэллса и Роберта Локкарта, так называемая «железная женщина», работавшая на советскую и британскую разведки одновременно, была прирожденной

обманщицей. По словам Берберовой, «все были обмануты Мурой. Она лгала, но, конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка. Она лгала обдуманно, умно, в высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени. Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче; чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой… Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого, хотя и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает и смущает мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно. Ее увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовым табу».

Когда Мура стала секретарем Горького, Мария Фёдоровна постепенно удалилась из центра этой семейной картины, а Мура тактично установила с ней лучшие отношения. «Комнаты их были рядом, Горького и Муры, – писала Нина Берберова. – По другую сторону от спальни Горького был его кабинет, небольшой, заваленный книгами и бумагами, выходивший в столовую. Мура уже через неделю после окончательного переезда оказалась в доме совершенно необходимой. Она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, нашла место для тех, которые ему присылались для чтения, готовила все для его дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные газеты».

Многие считали, что именно Мура была причиной все увеличивавшейся ненависти к Горькому Григория Зиновьева, одного из большевистских лидеров. Ходасевич замечает: «Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил повальный обыск. В ту пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозится арестовать некоторых людей, близких Горькому. Вероятно и то, что замышлялся еще один удар – можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича». В этих словах Ходасевич намекал на Муру. Причина возможного ареста – проста. Мура долгое время была любовницей английского дипломата Роберта Локкарта, который работал в английском консульстве в Москве и был известен в связи с «заговором» 1918 года. В тот год Локкарт был обвинен во взрывах мостов, намерении убить Ленина и других преступлениях, после чего какое-то время находился в тюрьме, а потом был выслан из страны. В связи с делом Локкарта Мура была арестована ЧК в 1918 году в Петрограде, но вскоре

отпущена.

На какое-то время гроза миновала. Однако уже шли обсуждения о том, что в будущем, в 1921 году, Горький уедет за границу «подлечить здоровье». (Это решение одобрялось всем «семейным консилиумом»: и обеими супругами Горького, и даже Владимиром Лениным!) Мура, с небольшими перерывами, жила в доме Горького в Италии до 1933 года (до его окончательного возвращения в СССР). Уезжая в Эстонию или Лондон, она продолжала, однако, сообщать ему все литературные сплетни, веселить его, хотя бывала в Сорренто уже только как гостья.

Просматривая воспоминания тех лет, в какой-то момент становится ясно, что все участники событий, все близкие Горького каким-то чудесным образом постоянно взаимодействовали, помогали друг другу, не помня прошлых обид. Видимо, личность писателя была настолько велика, что о простых выяснениях отношений или эгоизме не могло идти речи. Да и собственная жизнь у каждого из них была очень непростой.

Нина Берберова писала: «Мура в ту первую итальянскую зиму казалась всегда озабоченной, и причин для этого было много. Сестра Алла в Париже, Будберг в Аргентине, дети в Таллине – деньги только отчасти могли приглушить постоянную тревогу. И здоровье Горького: он болел в январе, когда ее не было».

Параллельно, в 1920-е годы, Мура постоянно ездила в Лондон, ее отношения с Гербертом Уэллсом опять возобновились, а к 1927 году началась нерегулярная переписка. Мура опять играла в жизни Уэллса большую роль. При этом его жена знала об этих отношениях. «То, что он не считал ночь с Мурой пустяком, о котором можно легко забыть, доказано тем фактом, что он, вернувшись из России, без обиняков сказал Ребекке (жене), что он спал с секретаршей Горького, – писала Нина Берберова. – Уэллс не любил изысканных выражений и называл излишнюю деликатность лицемерием. Ребекка, хотя и считала себя передовой женщиной, долго плакала». Уэллс в какой-то момент действительно осознал, что жизнь Муры и Горького подходила к концу, особенно когда в 1928 году стало ясно, что Горький решил снова поехать в Россию.

Обстоятельства смерти Горького и его сына многими считаются «подозрительными», ходили даже слухи об отравлении, которые, впрочем, не нашли подтверждения. На похоронах, в числе прочих, гроб с телом Горького несли Молотов и Сталин. Интересно, что в числе прочих обвинений Генриха Ягоды на Третьем московском процессе 1938 года было обвинение в отравлении сына Горького. Согласно допросам Ягоды, сам Максим Горький был убит по приказу Троцкого, а

убийство сына Горького, Максима Пешкова, было уже его личной инициативой. Некоторые публикации обвиняют Сталина в смерти Горького. Третий московский процесс был важным прецедентом медицинской стороны обвинений в «деле врачей» , среди подсудимых на нем были три врача (Казаков, Левин и Плетнёв), обвинявшиеся в убийствах Горького и других.

Подобных радикальных взглядов по поводу взаимоотношений Горького и российского правительства придерживалась и Нина Берберова. По мнению писательницы, последние годы жизни Горького были тщательно спланированы Сталиным. Писательница считала, что в те годы Сталин замыслил завладеть тремя нужными архивами: Керенского, Троцкого и Горького. Последний был получен путем сделки с умирающим писателем. Берберова также полагала, что, «если в вопросе о смерти Горького могут быть сомнения, был ли он вообще отравлен и кем, в вопросе о смерти Максима не может быть сомнений в том, что он умер насильственной смертью».

Какова бы ни была правда, наверное, самое главное о Горьком было подытожено Владиславом Ходасевичем, который нарисовал образ писателя, представив его как мощную глыбу, самородка, при этом очень чувствительного и скромного человека. Из воспоминаний Ходасевича:

«От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, – огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о „биографии“, должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности – может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький. Он был исключительно скромен – даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того – от неуверенности в себе».

Владимир Маяковский 1893 – 1830 «Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг»

В мировой поэзии XX века Маяковскому принадлежит особенная, исключительная роль. Маяковский первым из поэтов XX столетия отдал свой могучий талант революционному обновлению жизни. Пабло Неруда отметил, что под влиянием большевистской революции вся мировая поэзия «преобразилась, словно пережила настоящую бурю»… Была бурей и личная жизнь поэта…

«Эльзочка, – сказала Лиля сестре, – не делай такие страшные глаза. Просто я сказала Осе, что мое чувство к Володе проверено, прочно и что я ему теперь жена. И Ося согласен». Этот разговор произошел летом 1918 года на даче Бриков. Эльза Каган наведалась туда проститься со старшей сестрой перед отъездом в Европу. В саду она обнаружила Осипа Брика, его жену Лилю и Владимира Маяковского, сидевшего у ее ног, – тихого, счастливого, совсем не похожего на себя. «Да, мы теперь решили навсегда поселиться втроем», – подтвердил Осип Брик. Бедная Эльза решила, что все происходящее – очередной футуристический эпатаж. Однако сильнее недоумения было острое чувство горечи: она все еще любила Маяковского.

Но она же и познакомила их. В июле 1915 года Эльза привела Маяковского к Брикам, которые жили на улице Жуковского (Санкт-Петербург). Лиля была очень хороша собой, соблазнительна, знала секреты обольщения, умела заинтересовать разговором, восхитительно одевалась. Если ей нравился мужчина и она хотела завести с ним роман – особого труда для нее это не составляло. Она была максималистка, и в достижении цели ничто не могло ее остановить. «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, – говорила она. – И разрешить ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое десу [8] ». Забавно, но, по словам Василия Катаняна, издателя и биографа Маяковского, «поколение за поколением, от школьника до академиков, считают своим долгом всенародно решать – кого следовало любить Лиле Брик, а кого нет». Это и дало ей основание заметить как-то: «Конечно, Володе хорошо было бы жениться на нашей домработнице Аннушке, подобно тому, как

вся Россия хотела, чтобы Пушкин женился на Арине Родионовне. Тогда меня, думаю, оставили бы в покое».

А Маяковский был влюбчив. По воспоминаниям Николая Асеева, поэта-футуриста, на которого сильное влияние оказал Маяковский, влюбляясь в женщин, он «обнимал пустых и чопорных, тоненьких и длинноногих дур». Василий Катанян, однако, категорически не согласен с подобной интерпретацией, считая, что дамы сердца Маяковского были вовсе не такие, просто «Лиля Брик так и оставалась женщиной всей его жизни». Маяковский влюбился в нее с первого взгляда. По ее воспоминаниям: «Это было нападение. Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально. Любовь его была безмерна. Но я ему сопротивлялась – меня пугала его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть». В первый же вечер, прочитав ей «Облако в штанах», Маяковский попросил разрешения посвятить ей поэму и с того дня посвящал ей каждую строчку всю свою жизнь (за исключением поэмы «Владимир Ильич Ленин», конечно). Позже он назвал день их знакомства «радостнейшей датой».

Любовь Маяковского и Лили Брик не раз подвергалась серьезным испытаниям. В годы, когда революция ломала прежнее искусство, пересматривала все на свете вообще, – казалось, что и человеческие взаимоотношения должны найти новую форму. В 1922 году в их отношениях наступил кризис, и причин тому было множество. Решили расстаться на два месяца, не видеться. Лиля была убеждена – чтобы творить, нужно испытывать мучения, лишения: благополучие губит художника. 6 февраля 1923 года она писала сестре Эльзе в Париж: «Мне в такой степени опостылели Володины: халтура, карты и пр. и пр., что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как он дошел до жизни такой. Если он увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же нет – нет, Бог с ним! Прошло уже два месяца: он днем и ночью ходит под моими окнами, нигде не бывает и написал лирическую поэму в 1300 строк!» Очевидно, что Маяковский пошел на эксперимент, результатом чего явилась поэма «Про это».

Впрочем, у Маяковского были романы и с другими женщинами – с Натальей Брюханенко, с Татьяной Яковлевой, с Вероникой Полонской. Были увлечения и у Брик. Но они условились – когда их любовь охладеет, они скажут об этом друг другу. И вот в 1925 году Лиля написала Маяковскому, что не испытывает к нему прежних чувств: «Мне кажется, что и ты уже любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь». Увы, это Брик только так

показалось. Он продолжал любить ее, может быть, не так бешено, но продолжал. Брик была натура очень решительная, поэтому настаивать он не смел, иначе это привело бы к полному разрыву. Время шло, но боль не проходила:

С 1926 по 1930 год Маяковский и Брики жили втроем в квартире на Гендриковом переулке (Москва). Они никогда не расставались и выглядели близкими друзьями, тесно связанными общими интересами, вкусами, делами и бытом. Наталья Брюханенко, одна из возлюбленных Маяковского, впоследствии рассказывала, что однажды была свидетелем того, как в столовую, где сидел Маяковский, вошла Брик.

«Володя, дай мне денег на варенье», – сказала она.

«Сколько?»

«Двести рублей».

«Пожалуйста».

Он вынул из кармана деньги и положил перед ней. Двести рублей на варенье – в те времена – были равны нескольким студенческим стипендиям! Правда, варенье предназначалось на весь год: ведь в доме Бриков бывало так много гостей!

Власть, авторитет и влияние Лили Брик были настолько велики, что даже своим возлюбленным Маяковский докладывал, что именно Лиля сказала по поводу его страданий, как ходила с ним покупать ей костюм и как консультировала насчет цвета «Рено», который он вез ей в подарок. История с автомобилем знаменательна. Лиля загорелась этой идеей, ведь она любила все новое, модное. «Это будет очень современно», – написала она в дневнике. А Маяковский так хотел ее порадовать, что был готов исполнить любой каприз. Они долго обсуждали марку машины, копили деньги. Брик научилась вождению, успешно сдала экзамены и получила права. Самой дешевой маркой машины в то время была «Рено». «Про машину не забудь, – писала Лиля в Париж Маяковскому в 1928 году. – 1) Предохранители спереди и сзади, 2) добавочный прожектор сбоку, 3) электрическую прочищалку для переднего стекла, 4) фонарик сзади с надписью „стоп“, 5) обязательно стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, 6) теплую попонку, чтобы не замерзала вода, 7) не забудь про два добавочных колеса сзади. Про часы с недельным заводом…» Маяковский сначала отвечал, что с гонорарами плохо, но машину все-таки купил. Это был четырехместный красавец, снизу светло-серый, а верхняя часть и крылья – черные. Брик пишет: «Я, кажется, была единственной москвичкой за рулем, кроме меня управляла машиной только жена французского посла!»

Брик редко ревновала Маяковского. Соня Шамардина была

очень красивая девочка, белокурая, с зелено-голубыми, миндалевидными глазами. Но за ангельской внешностью скрывался бешеный темперамент и неутолимая жажда жизни. Северянин был в нее влюблен без памяти. Чуковский тоже за ней ухаживал. Он и познакомил ее с Маяковским в 1913 году, на одном из вечеров футуристов. «Возвращались однажды с какого-то концерта-вечера, – вспоминала она много лет спустя. – Небо было хмурое. Только изредка вдруг блеснет звезда. И тут же стало слагаться стихотворение: „Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно?..“ – держал мою руку в своем кармане и наговаривал о звездах». Шамардина стала одной из героинь «Облака в штанах» (вторая – одесская художница Мария Денисова, еще одна возлюбленная Маяковского, правда, не ответившая ему взаимностью, под впечатлением чего он зимой 1914 года и написал поэму). Впрочем, «Облако в штанах» посвятили уже Лили Брик, а бывшая гимназистка Софья Шамардина вышла замуж за большевика, потом сама стала партийным работником, уже после смерти поэта отсидела 17 лет в лагерях и закончила свою жизнь в доме для старых большевиков в Переделкине. Брик до конца своих дней поддерживала с ней хорошие отношения и часто пересылала в Переделкино конфеты, книги и лекарства.

Единственная женщина Маяковского, к которой Брик ревновала, была Татьяна Яковлева. Но эта ревность была особенной: поэт посвятил Татьяне стихи, а значит, изменил в творчестве. В неопубликованных записках Брик есть такие строки: «Я огорчилась, когда Володя прочел „Письмо из Парижа о сущности любви“. Маяковский на мое огорчение огорчился еще больше меня, уверял, что это пустяки, „копеек за тридцать лирической мелочи“ и что он пишет сейчас стихи мне в виде письма, что это будет второе лирическое вступление в поэму о пятилетке (первое „Во весь голос“), что обижаться я на него не вправе, что „мы с тобой в лучшем случае в расчете, что не нужно перечислять взаимные боли и обиды“. Что мне это невыгодно, что я еще останусь перед ним в большом долгу…»

Роковой женщиной в жизни Маяковского считается Вероника Полонская. На нее внимание обратила сама Лиля Брик. Именно она в 1929 году пригласила начинающую актрису МХАТа играть в фильме «Стеклянный глаз», который Осип Брик снимал вместе с режиссером Жемчужным. Отцом Полонской, кстати, был знаменитый король экрана Витольд Полонский, партнер Веры Холодной. От отца актриса унаследовала ослепительную красоту. Роман с Маяковским протекал бурно. Она была замужем, и поэт упорно добивался, чтобы она оставила мужа. Воспоминания

Полонской были долгое время запрещены, но затем опубликованы. Вероника Витольдовна – свидетель последней минуты жизни поэта. Их объяснение на квартире Маяковского было тяжелым, но перед уходом Полонской Маяковский поцеловал ее, ласково успокоил и пообещал позвонить в пять часов. Она только вышла и сразу же услышала выстрел. Полонская закричала, заметалась по коридору, не в силах заставить себя вернуться. Когда же она все-таки вбежала в комнату, там еще стояло облачко дыма от выстрела. «Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. Глаза у его были открыты, он смотрел прямо вперед на меня и все силился поднять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже неживые. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть…»

И Брик, и Полонская потом еще долго-долго жили. На протяжении многих лет они встречались, даже симпатизировали друг другу. Брик даже однажды сказала: «Как ужасно поступил Володя по отношению к Норе! Он искалечил ей жизнь, упомянув о ней в предсмертной записке. Ее на следующий день напечатали в газете, все узнали об их романе, муж бросил ее. Уверена, что Володя сделал это не со зла, он хотел обеспечить ее, но объективно – Нора же осталась одна!..» В свою очередь Полонская, узнав о смерти Брик, написала: «Я всегда очень любила Лиличку и глубоко ее уважала…»

Лучшие стихотворения Владимира Маяковского – о любви и посвящены Лиле Брик. Потрясающая по силе лирика:

Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек…
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?
Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

Сергей Есенин 1895 – 1925 «Жизнь моя, иль ты приснилась мне»

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константинове Рязанской губернии, в крестьянской семье. С 1912 года он с отцом жил в Москве, работал в книжном магазине, а в марте 1913 года устроился в типографию помощником корректора. Вскоре корректор Анна Изряднова стала его женой. Она вспоминала о Есенине так: «Только что приехал из деревни, но на деревенского парня не был похож – на нем был коричневый костюм, высокий крахмальный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив… Настроение было у него упадочное – он поэт, никто не хочет его понять, редакции не принимают в печать, отец журит».

Брак с Анной с первых дней семейной жизни показался Есенину ошибкой. В 1915 году, несмотря на рождение сына, он оставил жену и уехал попытать счастья в журналах Северной столицы. В Петербурге он сразу отправился к Александру Блоку. Тот, назвав молодого Есенина «талантливым крестьянским поэтом-самородком», ввел его в круг поэтов. Перед петербуржской творческой интеллигенцией Есенин изображал этакого «наивного, простодушного паренька», хотя ни простодушия, ни наивности в нем никогда не было. Близкий друг поэта Анатолий Мариенгоф вспоминал, как Есенин весьма цинично объяснял свой успех в Петрограде: «С бухты-барахты не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику. Не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят… Каждому надо доставить удовольствие».

Во время этих самых политических игр ради завоевания популярности в модных литературных салонах в жизни Есенина и появилась актриса Зинаида Райх. Вскоре они отправились в путешествие на Север (аж на Соловки и далее – в Мурманск), а во время этого путешествия обвенчались, буквально «по дороге». Зинаида Райх родила Есенину двоих детей, Татьяну и Константина. Однако совместная жизнь Есенина и Райх долго не длилась. Тот же Мариенгоф вспоминал, что Сергей как-то сказал: «Не могу я с Зинаидой жить. Говорил ей – понимать не хочет. Не уйдет, и всё… ни за что не уйдет… Вбила себе в голову: „Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу“. Скажи ты ей, Толя, что есть у меня другая женщина». Мариенгоф же описал одну из случайных встреч Есенина и Райх:

«Случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с

Зинаидой Николаевной Райх. Она ехала в Кисловодск.

Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону:

– Как назвать?

Есенин думал-думал – выбирая нелитературное имя – и сказал:

– Константином. – После крещения спохватился: – Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут.

На сына посмотреть не поехал.

Заметив на ростовской платформе меня, разговаривающего с Райх, Есенин описал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, ловя равновесие плавающими в воздухе руками.

Зинаида Николаевна попросила:

– Скажите Сереже, что я еду с Костей. Он его не видал. Пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе.

Я направился к Есенину. Передал просьбу.

Сначала он заупрямился:

– Не пойду. Не желаю. Нечего и незачем мне смотреть.

– Пойди – скоро второй звонок. Сын же ведь.

Вошел в купе, сдвинул брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками…

– Фу! Черный!.. Есенины черные не бывают…

– Сережа!

Райх отвернулась к стеклу. Плечи вздрогнули.

– Ну, Анатолий, поднимайся.

И Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона».

После окончательного разрыва с Зинаидой Райх Есенин довольствовался случайными встречами, проводил время в попойках, часто заканчивавшихся скандалами. Впрочем, в его поведении было слишком много театрального. Вспоминали даже, что перед тем, как учинить дебош и публично «разбить окно» (или из него выпрыгнуть!), он всегда наматывал на руку пиджак – чтобы не пораниться! Он был бездомен и бесприютен.

Был я весь – как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

В 1921 году в жизнь Есенина ворвалась Айседора Дункан. Знаменитая американская танцовщица, она приехала в «красную Россию», чтобы открыть студию танца для девочек. Айседора и

Сергей сразу понравились друг другу. Мариенгоф утверждал, что Дункан увидела Есенина на пирушке в одной из студий. На ней был красный хитон, льющийся мягкими складками. Волосы были красные с отблеском меди, и, несмотря на большое тело, она ступала легко и мягко:

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастье,
А нечаянно гибель нашел.

Айседора увидела Есенина и улыбнулась ему. Потом она прилегла на диван, а он стоял возле нее на коленях. Она гладила его по волосам, произнося по-русски: «За-ла-тая га-ла-ва…» «Мальчишкой, целуя коров в морду, я просто дрожал от нежности, – говорил потом Есенин, – и сейчас, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры». Она была старше его на 18 лет. Он говорил только по-русски, она – по-английски, но они друг друга прекрасно понимали. Есенин чем-то напоминал Айседоре ее трагически погибшего сына, поэтому отдавала она ему всю свою любовь: и женскую, и материнскую… Искренняя любовь этой женщины на время изменила жизнь поэта.

После того как советское правительство перестало субсидировать балетную школу Дункан, танцовщица решила ехать в мировое турне, и, чтобы Есенина вместе с ней выпустили за границу, они заключили официальный брак. Оставшись равнодушным к роскоши окружавшей их обстановки, Есенин отнесся к Западу в целом с презрением. Вот что он писал Мариенгофу: «В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор… Во-первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью…»

Однажды в Берлине, в отеле «Адлон», супруги Александр Таиров и Алиса Коонен, приехавшие на гастроли со своим Камерным театром, с изумлением увидели на лестнице Дункан в распахнутом пеньюаре. «Сережа меня не любит!» – прошептала она им в слезах. Это шокировало, как и манера Есенина объясняться со своей возлюбленной жестами, толчками в спину или локтем в бок. Возможно, иногда Айседора действительно не понимала каких-то вещей. Об этом говорят намеки Есенина в одном из его писем Илье Шнейдеру, своему приятелю, позже описавшему «горький роман» между поэтом и танцовщицей в своей книге «Встречи с Есениным»:

«Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал денег. Пока получил только сто тысяч марок, между тем в перспективе около 400… Имущество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест… Таковы ее дела… Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую за ней с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика…»

О Есенине и Дункан сохранилось много свидетельств современников. Это была, говоря современным языком, звездная пара. Они вызывали любопытство, поражали, что впоследствии породило много толков. Вот как описал одну из их встреч Максим Горький: «От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво… Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась изумительнейшим олицетворением всего, что ему было не нужно».

Сергей и Айседора возвратились в Россию в августе 1923 года. Приехав в Москву, они нашли школу в жалком состоянии. К счастью, у Дункан были чеки «Американ экспресс», примерно на 70 000 франков. Все, что у нее было, она потратила на школу, что привело Есенина в ярость, – он хотел владеть всем и раздавать все друзьям. Десятки своих костюмов он щедро «дарил» направо и налево. В Москве он исчез на несколько дней. До Айседоры без конца доходили слухи, будто по ночам его видели в ресторанах, обычно с женщиной. Но, на удивление, она никогда не гневалась на мужа. Стоило ему лишь броситься к ее ногам, и она прижимала его кудрявую голову к груди и успокаивала.

Расставшись с Айседорой Дункан, Есенин поселился у Галины Бениславской, ставшей для поэта верным другом и помощником. В 1924 – 1925 годах она вела все его литературные дела. «Всегда Ваша и всегда люблю Вас», – заканчивала она все письма к Есенину.

Воспоминания Галины Бениславской о поэте полны горечи, боли, недоумения по поводу «неверных друзей» поэта: «…Сергей Александрович по существу был хорошим, но его романтизм, его

вера в то, что он считал добрым, разбивались о бесконечные подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Есенину все остальное, и, только как сквозь туман, сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда благодаря этому туману казалось, что тот остальной мир и не существует. И он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами дураком. И решал не уступать этому окружению в хитрости и подлости. И почти до конца в нем шла борьба этих двух начал – ангела и демона…»

Осенью 1925 года женой Есенина стала Софья Толстая, внучка Льва Толстого, чем он, кстати, очень гордился. В то время Софье Андреевне было двадцать пять лет. По воспоминаниям Александры Есениной, она была «выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку; властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении». Любовь ее к Есенину была нелегкой. В конце декабря он сбежал из Москвы в Ленинград, не сказав ни слова ни жене, ни друзьям. О том, что пережила Софья Толстая, живя с Есениным в его страшные последние месяцы, вспоминала ее мать, Ольга Константиновна: «…Вся эта осень, со времени возвращения их из Баку, это был сплошной кошмар. И как Соня могла это выносить, как она могла продолжать его любить – это просто непонятно и, вероятно, объясняется лишь тайной любви. А любила она его, по-видимому, безмерно… Его поступки… безумную, оскорбительную ревность – она все объясняла болезнью и переносила безропотно, молчаливо, никогда никому не жалуясь…»

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле, —

написал в эти дни Есенин, прощаясь с Соней и прося у нее прощения. Когда Софье Толстой сообщили о смерти Есенина, она страшно закричала, не хотела верить, была как безумная. На Ваганьковском кладбище у могилы Сергея Есенина собрались его жены и возлюбленные: Анна Изряднова, Зинаида Райх, Галина Бениславская, Софья Толстая. Айседора Дункан прислала телеграмму: «…Его дерзкий дух стремился к недостижимому… Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием». Через год Галина Бениславская застрелилась на могиле поэта. В 1927 году в Ницце погибла Айседора Дункан. Софья Толстая сохранила ему верность и старательно берегла все, что было связано с жизнью поэта, разбирала его архив, готовила к изданию его сочинения. Рядом с

обручальным кольцом она всю жизнь носила медное кольцо, которое он ей подарил.

Анатолий Мариенгоф 1897 – 1962 «С тобою, нежная подруга»

Анатолий Борисович Мариенгоф родился 24 июня (6 июля) 1897 года в Нижнем Новгороде в семье служащего. В молодости его родители были актерами, играли в провинции, и, хотя потом оставили сцену, страсть к театру, увлеченность литературой царили в доме и передались сыну, который в детстве перечитал почти всю русскую классику и многое из западной литературы. Сначала он посещал частный пансион, в 1908 году был переведен в престижный Нижегородский дворянский институт императора Александра II. Стихи Мариенгоф начал писать лет с двенадцати. Больше других поэтов любил тогда Блока.

В 1913 году, после смерти жены, отец Мариенгофа с двумя детьми (у Анатолия была младшая сестра) переехал в Пензу. Здесь в 1914 году Анатолий издавал журнал «Мираж», «более чем наполовину заполняя его собственными стихами, рассказами, статейками». Неординарным событием для молодого поэта было путешествие летом 1914 года по Балтике на учебной парусной шхуне «Утро». Он побывал в Финляндии, Швеции и Дании и получил матросское свидетельство, чем очень гордился. Плавание, однако, внезапно прервалось – началась Первая мировая война.

В 1916 году Мариенгоф поступил на юридический факультет Московского университета и сразу же отправился на военную службу. Но на передовую, куда он стремился, попасть не удалось – его определили в 14-ю инженерно-строительную дружину Западного фронта. В дни Октябрьской революции Мариенгоф вернулся в Пензу и с головой ушел в литературу: создал поэтический кружок, включивший соученика по гимназии поэта Ивана Старцева и художника Виталия Усенко, в 1918 году выпустил свою первую книжку стихов «Витрина сердца».

Летом в город вошел Чехословацкий корпус, и случайная пуля убила отца Анатолия Мариенгофа. Поэт уехал в Москву, где поступил литературным секретарем в издательство ВЦИК. Вскоре произошла его встреча с Есениным, который впоследствии стал его лучшим другом. Потом Мариенгоф познакомился с Вадимом Шершеневичем и Рюриком Ивневым. Так оформилась группа имажинистов, заявившая о себе «Декларацией», опубликованной в январе 1919 года в журнале «Сирена» (Воронеж). Для имажинистов, в том числе и Мариенгофа, наступил период чрезвычайной активности. В 1919 году ими были созданы

«Ассоциация вольнодумцев» (Мариенгоф и Есенин написали текст устава и вошли в правление), книжный магазин «Московской трудовой артели художников слова», кафе «Стойло Пегаса», кооперативное издательство «Имажинисты».

Именно в эти годы биографии Есенина и Мариенгофа особенно переплелись. Осенью 1919 года оба друга поселились вместе и на несколько лет были почти неразлучны. Вместе ездили по стране: летом 1919-го побывали в Петрограде, весной 1920-го – в Харькове, летом на Кавказе. Даже публиковали в печати письма друг другу, чем вызывали негодование критиков.

В конце 1923 года Мариенгоф женился на артистке Камерного театра Анне Борисовне Никритиной. Познакомились они, в некотором роде, тоже благодаря Есенину.

Из воспоминаний Никритиной:

«В конце вечера Шершеневич предложил мне пойти в гости к его приятельнице, какой-то пожилой даме, познакомиться с Есениным. Я, конечно, согласилась. Побыть в обществе Сергея Есенина, послушать его, поговорить (он уже тогда был всеми любим) мне интересно. И я не пожалела. Он был очень хорош в тот вечер. Легкий, веселый, с юморком, чудно улыбался. Действительно, как васильки во ржи цвели в лице глаза. Читал свои стихи. Часа в два ночи мы с Шершеневичем ушли, Есенин, как и предполагалось, остался там ночевать. Не знаю почему, но ему негде было спать, и эта дама предложила ему ночлег. Прошло много времени… Я как-то забежала в книжную лавку имажинистов к Шершеневичу – мне нужны были стихи, – и тут из глубины лавки вышел Мариенгоф: „Что ж ты меня не знакомишь?“ Много месяцев спустя после моего первого знакомства с Есениным, примерно в июне-июле, он вернулся из какой-то поездки домой, и Мариенгоф меня вторично с ним познакомил. „Ах, эта! Да я ее знаю“. Как потом оказалось, ходить с Шершеневичем по гостям, да еще ночью, было не совсем безопасно для репутации молодой девушки… Но ничего… Мы все же подружились с Сергеем Александровичем.

…Есенин со всей его душевной тонкостью сразу почувствовал, что у нас с Мариенгофом возникает что-то настоящее. Был вечер у Жоржа Якулова в студии. Это был известный художник того времени. Естественно, туда привезли и Дункан. На этот вечер Жорж пригласил и нас троих… Поехали… И сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина… Весь вечер они не расставались, и… уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистенку к Дункан, а я переехала на Богословский, вышла замуж за Мариенгофа и прожила с ним

всю жизнь.

Я часто бывала у них в доме. Я говорю „у них“, потому что Есенин и Мариенгоф жили одним домом, одними деньгами. Оба были чистенькие, вымытые, наглаженные, в положенное время обедали, ужинали. Я бы не сказала, что это похоже было на богему. Жили они в Богословском переулке, рядом с театром Корша (теперь это Петровский переулок, а театр – филиал МХАТа). В большой коммунальной квартире у них чуть ли не три комнаты, правда, одна из них – бывшая ванная. Потом почему-то стало две. Одну, очевидно, отобрали. Одевались они одинаково: белая куртка, не то пиджачок из эпонжа, синие брюки и белые парусиновые туфли. До чего же Есенин был хорош в этом туалете! Походка у него была легкая, слегка пританцовывающая („В переулках каждая собака знает мою легкую походку“). Приветный, ласковый, гостеприимный, он много работал. Никогда не забуду дня после возвращения Мариенгофа из поездки. Именно дня. Все собрались утром, а разошлись только к вечеру…

…Однажды мы встретили их у храма Христа Спасителя. Шла чинная „буржуазная“ пара – Есенин и Дункан. Сережа страшно обрадовался. Нас пригласили обязательно, непременно прийти вечером. Пришли. Кроме нас, никого не было. Но было торжественно. У каждого прибора стояла бутылка рейнвейна. Они стояли как свечи. Изадора подняла первый бокал за Есенина и Мариенгофа, за их дружбу. Она понимала, как трудно Есенину. Она ведь была очень чуткой женщиной. А потом сказала мне: „Я енд ты чепуха, Эссенин енд Мариенгоф это все, это дружба“».

По мнению некоторых критиков, расхождение между Есениным и Мариенгофом наступило в конце 1923 года и привело к тому, что после смерти Есенина в адрес Мариенгофа, который якобы оказывал на Есенина отрицательное влияние, посыпались несправедливые упреки. Однако переписка друзей свидетельствует об обратном. В ноябре 1922 года Есенин писал Мариенгофу:

«Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь, в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься… Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва. В чикагские „сто тысяч улиц“ можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире.

О себе скажу (хотя ты все думаешь, что я говорю для потомства), что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, „заграница“, а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и

любовью к моему искусству. Никому оно не нужно. И, правда, на кой черт людям нужна эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксенова. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки. Ты сейчас, вероятно, спишь, когда я пишу это письмо тебе. Потому в России сейчас ночь, а здесь день. Вижу милую, остывшую твою железную печку, тебя, покрытого шубой. Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь. Все равно при этой культуре „железа и электричества“ здесь у каждого полтора фунта грязи в носу».

В Америку Есенин ездил с Айседорой Дункан. После возвращения в Россию они практически сразу развелись. В это же время, в 1923 году, Никритина вместе с Мариенгофом уехали в Одессу, к сыну, но, неожиданно получив от Есенина деньги и телеграмму: «Приехал, приезжайте, Есенин», – они молниеносно «кладут своего месячного сына в серенький чемодан (конечно, открытый!)» и отправляются обратно в Москву. Никритина вспоминала, какая грустная это была встреча. «Как больно было на него смотреть: он как-то посерел, и волосы потяжелели, и глаза помутнели. Какая-то компания возле него нечистоплотная – присосавшаяся. Вскоре на время он переехал к нам на Богословский. Все говорил: „Вымóю голову“. У него были свои ударения, и мягко произносил „г“. Он любил мыть голову, и, правда, волосы опять становились легкие, глаза светлели. Как-то привел к нам Миклашевскую. Актрису театра. Я с ней дружила, хотя была много моложе… Она играла принцессу Брамбилу и славилась своей красотой. Когда я поступила в Камерный театр, то спросила: „А где эта знаменитая красавица, покажите мне ее…“ – „Да вот, возле вас…“ Я оглянулась… Стояла рядом крупная женщина, на плечах русский платок, бледная, ничего выдающегося… Но через 20 минут я уже наслаждалась ее красотой. Большие карие глаза, прямой нос. Чудный маленький рот, ничего броского:

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России…

И еще:

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость».

Прошло несколько лет. Шел 1925 год. Мариенгофы и Есенин уже давно не общались. Тот ездил в Баку, затем в Тифлис. Но

судьба вновь в какой-то момент свела их.

Никритина вспоминала:

«Мы были у Качаловых вместе с Саррой Лебедевой – скульптором. Много говорили о Есенине. Василий Иванович читал его стихи „Собаке Качалова“. Вернулись все трое к нам домой часа в 4 утра. Вдруг входит моя мама и говорит: „Сережа был, все время смотрел на Киру (это наш сынишка), плакал, хотел помириться с Толей…“ Мы прямо растерялись. Подумайте, мы там все время говорили о нем, и он пришел. Мы были в отчаянии. Где же теперь его найти? Постоянного жилья у него не было, он ночевал то здесь, то там. И вдруг назавтра, часа в 2 дня, четыре звонка – это к нам. Открываю – он, Сережа. Мы обнялись, расцеловались. Побежали в комнату. Мариенгоф ахнул. Он был счастлив, что Сережа пришел. Есенин смущенно сказал: вся его „банда“ смеется над ним, что он пошел к Мариенгофу. „А я все равно пошел“. Они сидели, говорили, молчали… Потом Есенин сказал: „Толя, я скоро умру, не поминай меня злом… у меня туберкулез!“ Толя уговаривал его, что туберкулез лечится, обещал все бросить, поехать с ним, куда нужно. Никакого туберкулеза у него не было. А просто засела в голове страшная мысль о самоубийстве. Она была у него навязчивая, потому что, когда Есенин очутился в нервном отделении у Ганнушкина и мы к нему пришли, он только и рассказывал, что там всегда раскрыты двери, что им не дают ни ножичка, ни веревочки, чтоб чего над собой не сделали. Я больше его не видела…»

Никритина, действительно, больше Сергея Есенина не видела, а Мариенгоф повстречал случайно, почти перед самой смертью поэта:

«День был серого цвета. Я сидел на скамейке бульвара против Камерного театра.

– Сережа!

Есенин не сразу услышал. Шляпа, побуревшая от мокрого снега, была надвинута на самые брови.

– Сережа!

– Здорово! – Сел рядом, сдвинул шляпу на затылок и неожиданно спросил: – Толя, ты любишь слово покой?

– Слово – люблю, а сам покой не особенно.

– Хо-рошее слово! От него и комнаты называются покоями, от него и покойник. Хо-орошее слово! – И, рассеянно поцеловав меня в губы, сказал: – Прощай, милый!

– Куда торопишься, Сережа?

– Пойду с ним попрощаюсь.

– С кем это?

– С Пушкиным.

– А чего с ним прощаться? Он небось никуда не уезжает.
– Может, я далеко уеду».

В 1928 году Никритина перешла в Большой драматический театр, и семья перебралась в Ленинград. К этому времени в творчестве Мариенгофа произошли значительные изменения. Стихи отошли на второй план. «Со смертию Есенина и переездом в Ленинград, – пишет он в „Автобиографии“, – закончилась первая половина моей литературной жизни, в достаточной мере бурная. С 30-х годов я почти целиком ухожу в драматургию. Моя биография – это мои пьесы». Мариенгоф написал более десяти больших пьес и множество скетчей.

В 1924 – 1925 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом Пролеткино, а вскоре, главным образом в соавторстве с друзьями, начал писать киносценарии. Всего их было создано им около десяти. Одним из ведущих жанров в творчестве Мариенгофа становится теперь проза. Большую известность получил «Роман без вранья» (1927).

В 1928 году в берлинском издательстве «Петрополис» вышел еще один роман Мариенгофа – «Циники», публикация которого принесла ему массу неприятностей и за который его подвергли откровенной травле. В конце концов, 1 ноября 1929 года он направил письмо в правление МО Всероссийского союза советских писателей, где признал, что «появление за рубежом произведения, не разрешенного в СССР, недопустимо».

Прообразом событий, описанных в «Циниках», стала трагическая история взаимоотношений поэта Вадима Шершеневича и актрисы Юлии Дижур, застрелившейся после одной из ссор. Роман также включает в себя множество автобиографических мотивов и в целом описывает период жизни страны с 1918 по 1924 год. Однако главным достоинством произведения было неоспоримое ощущение любви в каждой строчке, завуалированное некоторым «цинизмом» повествователя:

«1918 год.

– Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высуня язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.

Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая, формы – женской руки с обрубленной кистью.

Под окнами проехала тяжелая грузовая машина. Сосредоточенные солдаты перевозили каких-то людей, похожих на поломанную старую дачную мебель.

– Знаете, Ольга…

Я коснулся ее пальцев.

– …после нашего „социалистического“ переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.

Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.

– А как вы думаете, Владимир…

Она взглянула в зеркало.

– …может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ?

Она взяла со столика золотой герленовский карандашик:
– Как же тогда жить?»

В 1940 году произошла еще одна трагедия. Семнадцатилетний Кирилл Мариенгоф, талантливый и красивый юноша, повесился – точно так же, как, по рассказам отца, сделал это «друг Есенин».

В июне 1941-го Мариенгоф работал на Ленинградском радио и ежедневно писал баллады (очерки в стихах), тут же звучащие в выпусках «Радиохроники». Вскоре, вместе с Большим драматическим театром, они с женой были эвакуированы в Киров, где прожили около трех лет. Здесь в 1947 году вышли две его книги «Пять баллад» и «Поэмы войны». Сборники эти оказались последними прижизненными публикациями поэта.

Конец 1950-х был отмечен работой над обширной книгой мемуаров, которая позднее, включив в себя «Роман без вранья», получила название «Бессмертная трилогия». Книга мемуаров была издана после смерти автора.

Георгий Иванов 1894 – 1958 «По пустынным аллеям неслышно пройду»

Многие поэты Серебряного века (Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Анна Ахматова) жили и умерли в России. Другие провели послереволюционные годы в эмиграции, где, часто бедствуя и преодолевая трудности, продолжали работать. Ни один из них не расставался с мыслями о родине. Не случайно одно из самых сильных стихотворений того времени, написанное Георгием Адамовичем, посвящено России:

Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое – просто города.

Адамович был другом поэта – Георгия Иванова (их так и называли – Жоржики).

Обычно история литературы расставляет места таким образом, что «второстепенные поэты» эпохи исчезают из поля зрения читателей, как только эта эпоха заканчивается. Случай Георгия Иванова нарушил эти, естественные как будто, причинно-следственные связи. Последними, среди прочих удивительных стихов, написаны слова, которые Александр Вертинский позже положил на музыку:

Над розовым морем вставала луна,
Во льду холодела бутылка вина.
И томно кружились влюбленные пары
Под жалобный рокот гавайской гитары…

Георгий Иванов, по воспоминаниям современников, был «настоящим демоном». Как ни странно, но мучившие его пороки породили самые красивые стихи того времени, а его женой стала лучезарная, легкая в своей подчас детской непосредственности женщина – поэтесса Ирина Одоевцева. Познакомились они в Петербурге. Мэтр русской поэзии Николай Гумилёв представил своей ученице Ирине Георгия Иванова так: «Самый молодой член „Цеха поэтов“ и самый остроумный, его называют „общественное мнение“, он создает и губит репутации. Постарайтесь ему понравиться». «Наверное, высмеет мою молодость, мой бант, мои стихи, мою картавость, мои веснушки», – подумала Ирина Одоевцева. Две-три случайные встречи ни к чему не привели, и

она решила, что он, с его снобизмом и язвительностью, не в ее вкусе. Прошла зима. А ранней весной Гумилёв вдруг объявил ей: «А вы нравитесь Жоржику Иванову. Но не надейтесь. Он ленивый и невлюбчивый мальчик. Ухаживать за вами он не станет». И уже позже, осознав, насколько чувства Георгия Иванова оказались сильны, Гумилёв даже просил Одоевцеву не выходить за поэта замуж – и не понять, в шутку или всерьез. Впрочем, предостережения мэтра не помогли.

Хоть Георгий Иванов и был женат на некой француженке, учившейся вместе с сестрой Георгия Адамовича, та, родив дочь, развелась с ним и уехала во Францию. Иванов был свободен. 10 сентября 1921 года Ирина Одоевцева вышла за него замуж, чтобы прожить с ним 37 лет до его последнего дня. Но, даже когда его не станет, она, знавшая его вдоль и поперек, будет думать о нем как о необыкновенном создании природы. «В нем было что-то совсем особенное, – напишет она, – не поддающееся определению, почти таинственное. Мне он часто казался не только странным, но даже загадочным, и я, несмотря на всю нашу душевную и умственную близость, становилась в тупик, не в состоянии понять его, до того он был сложен и многогранен».

А пока что Ирина Одоевцева переехала со «своей Бассейной» на «его Почтамтскую», в квартиру, которую Георгий Иванов делил со своим другом Георгием Адамовичем. Днем Адамович бродил по комнатам, отчаянно скучая. Оба Георгия целыми днями ничего не делали, а для приработка ночами писали переводы стихотворений. Одоевцева не понимала такое времяпрепровождение. Гумилёв приучал ее к стихотворному труду, сродни труду чернорабочего. А оба Жоржика уверяли, что стихи рождаются сами собой, и специально делать ничего не надо. И в один прекрасный день, за утренним чаем, ее муж вдруг сказал «постой-постой» и проговорил:

Туман… Тамань… Пустыня внемлет Богу,
Как далеко до завтрашнего дня!..
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Одоевцева удивилась. «То, что эти гениальные стихи были созданы здесь, при мне, мгновенно, – признавалась она, – казалось мне чудом».

Отъезд в эмиграцию Иванова сопровождался целым рядом слухов. Во время ссоры Иванова с Ходасевичем, как писал в одном из писем Юрий Терапиано [9] : «Ходасевич разослал многим писателям и другим лицам такое письмо: якобы в Петербурге Адамович, Иванов и Оцуп завлекли в квартиру Адамовича для карточной игры, убили и ограбили какого-то

богача, на деньги которого затем все выехали за границу. Труп, разрезав на куски, вынесли и бросили в прорубь на Неве. Адамович нес якобы голову, завернутую в газету. Можете себе представить, какой был скандал; до сих пор то здесь, то там, то в Париже, то в Ницце, кто-нибудь рассказывает „знаете…“. Ходасевич клялся, что это правда, и что будто бы ленинградская милиция требовала у парижской полиции выдачи „преступников“, но „большевикам было отказано, так как французы подумали, что выдачи требуют по политическим мотивам“».

К счастью для всех троих, к моменту, когда советские власти обеспокоились на тему этой истории, они были уже далеко. Для Георгия Иванова наступило время эмиграции.

По мнению критика и литературоведа Андрея Арьева, «уверенные, что большевистский режим долго не продержится, и Георгий Иванов, и Ирина Одоевцева уезжали в Европу представляя себе этот вояж – чудесной авантюрой, а ретроспективно (по версии Одоевцевой) – чуть ли не свадебным путешествием (медовый год в России – с сентября 1921-го по сентябрь 1920-го – раем им не показался».

Георгий Иванов получил нелепую командировку в Германию – для «составления репертуара государственных театров», Ирина Одоевцева отправилась к отцу в Латвию, где гостила недолго, увлекшись «Принцем Сирени» – знакомым еще по Петрограду меценатом и поэтом северянинского толка Борисом Башкировым-Вериным (именно он положил начало публикациям стихов Георгия Иванова в эмигрантской периодике, в гельсингфорской газете «Новая русская жизнь».

Мельком повидавшись с Одоевцевой в Берлине, Георгий Иванов отправился во Францию. В Париже он посетил Бальмонта. Однако цель приезда Георгия Иванова в Париж была несколько другая – первая семья. По словам Арьева, «трудно предполагать, не захотел или не смог поэт в этот свой приезд во Францию остаться в Париже. Во всяком случае, на втором, берлинском издании „Вереска“ 1923 года поставлено: „Посвящается Габриэль“. Учитывая снятое в тот период со второго издания „Садов“ посвящение Ирине Одоевцевой, становится понятным, что оба поэта уехали из Петрограда врозь не только из осторожности, опасаясь привлечь к своему отъезду лишнее внимание».

На этом сведения, правда, обрываются. Габриэль вышла замуж, но, что стало с дочерью позже, когда Георгий Иванов обосновался в Париже, неизвестно. Ни он сам, ни Ирина Одоевцева о ее судьбе нигде никогда не упоминали. В анкете 1952 года в графе «дети» поэт поставил прочерк.

В Берлине Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, по воле судьбы, вновь обрели друг друга, а в 1923 году уехали во Францию.

Помимо странствий, лишений и трудностей во Франции с супружеской четой случались весьма трагикомические истории. Правдивы они или нет, неизвестно, но в воспоминаниях их современников – немало анекдотических случаев.

К Иванову и Одоевцевой однажды приехал Адамович с радостной новостью, что его богатая тетка предложила племяннику деньги на квартиру, с тем чтобы друзья опять могли поселиться вместе. Нашли четыре большие комнаты в новом элегантном доме с внутренним двориком и голубями. Все предвкушали новое счастье. Наконец, Адамович появился с деньгами. Почему-то он страшно нервничал. Иванов и Одоевцева не могли понять, в чем дело. Объяснение пришло слишком поздно: Адамович играет и уже проиграл часть денег. Он умолял Одоевцеву поехать с ним в Монте-Карло и сесть вместо него за карточный стол: «Вы выиграете, вы же выиграли однажды и спасли жизнь человеку!» Действительно, некто в Петербурге когда-то проиграл казенные деньги и собрался стреляться. Ирина Одоевцева пошла, действуя совершенно интуитивно, отыграла проигрыш и вернула деньги неудачному игроку. Но на этот раз она решительно отказалась. Впрочем, Адамовичу в конце концов удалось уговорить ее. Втроем они сели в поезд и отправились в Монте-Карло. По дороге Адамович сорил деньгами, уверенный в счастливой руке Одоевцевой. Действительно, она в первый же день отыграла часть суммы. На следующий день повторилось то же самое. Сумма выигрыша росла. Но когда она готова была отыграть все, Адамович неожиданно ее отстранил: сам. И все спустил.

Тем не менее они сняли квартиру в фешенебельном районе Парижа, возле Булонского леса, завели роскошную обстановку и даже лакея:

– Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой.
Мы жили тогда на планете другой,
И слишком устали и слишком стары
И для этого вальса и этой гитары.

А затем наступили годы бедствий. Во Францию пришла война. Оставаться в Париже было опасно, они перебрались в Биарриц, жили у моря. В книге «Курсив мой» Нина Берберова писала: «Георгий Иванов, который в эти годы писал свои лучшие стихи, сделал из личной судьбы (нищеты, болезней, алкоголя) нечто вроде мифа саморазрушения, где, перешагнув через наши обычные границы добра и зла, дозволенного (кем?), он далеко

оставил за собой всех действительно живших „проклятых поэтов“». Последние годы жизни Георгий Иванов и Ирина Одоевцева провели в совершенной бедности, в старческом доме, так называемом «богомерзком Йере». Когда они начали хлопотать об устройстве в дом престарелых, ему шел шестидесятый год, а ей – пятьдесят девятый. Не совсем подходящий возраст для такого заведения… Именно там Георгий Иванов написал последние стихи, где все обращено к той, которая, несмотря ни на что, поддерживала его всю жизнь:

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая.

Окно их комнаты выходило во двор, в котором росла пальма. В жаркую погоду Ирина Владимировна уходила туда спать. Георгий Владимирович жару переносил плохо, а с годами и совсем не переносил. Все одно – во дворе или в раскаленной комнате: «Ночь, как Сахара, как ад, горяча». На еду полагалось восемьсот франков, больше двух долларов, что при тогдашних французских деньгах было неплохо. Особенно после парижского недоедания и легшей чугунным грузом озабоченности, где достать на обед, на лекарства, чем заплатить за гостиничный номер. «Если не заниматься высокими делами, то все-таки здесь изумительно хорошо, после нашей адской жизни последних лет», – писал он Роману Гулю, но так было только вначале. Болезнь, непонятно какая, подтачивала его силы. «Наш мир создан каким-то Достоевским, только не столь гениальным, как Фёдор Михайлович», – сказал он как-то Одоевцевой.

Летом 1955-го Адамович приехал к ним, свернув в Йер на пути в Ниццу. Прошел год, как «Жоржики» помирились. Адамович вел совершенно другой образ жизни. Вступив в сентябре 1939 года добровольцем во французскую армию, будучи интернированным, он проникся симпатиями к СССР, в конце 1940-х публиковался в просоветских западных газетах, а его книга «Другая родина», написанная по-французски и вышедшая в 1947 году, воспринималась некоторыми русскими парижанами как акт капитуляции перед сталинизмом. Разрыв длился пятнадцать лет. Но худой мир лучше доброй ссоры, а Георгий Иванов называл их нынешние отношения именно так. Впрочем, примирение получилось скорее внешним. «Не скучайте, Жорж и мадам, – сказал Адамович на прощание, входя в автобус. – Скучно везде, не только в Йере. А место это райское, и напрасно вы рветесь в неизвестность».

Иванов получал скромные гонорары за стихи. На них можно

было разве что съездить на автобусе в соседний Тулов. При этом каждый чек, приходивший на имя Георгия Владимировича или Одоевцевой, нужно было держать в секрете. Не ровен час узнает администрация богадельни… Действительно ли Иванову предлагали принять французское гражданство – вряд ли будет выяснено. До конца жизни он оставался с нансеновским паспортом [10] , какие еще до войны выдавали эмигрантам. На вопрос в анкетах, «гражданином какой страны вы являетесь», всегда отвечал: «русский беженец». А на отказ же от предлагаемого французского гражданства чиновник-француз якобы сказал Георгию Иванову: «Я вас понимаю и уважаю».

Перед смертью единственное, о чем Георгий Иванов просил, было документально зафиксировано в обращении к русской эмиграции: «Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил меня как поэта, и прошу об одном. Позаботиться о моей жене, Ирине Одоевцевой. Тревога о ее будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем всей моей жизни, и я ей бесконечно обязан. Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня, умоляю их исполнить мою посмертную просьбу и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой. Верю, что мое завещание будет исполнено».

Ирина Одоевцева проживет без мужа еще 32 года. Одна из немногих русских эмигрантов, уже в очень преклонном возрасте, но такая же очаровательная и уверенная в своей красоте, она все-таки вернется в Ленинград.

Ирина Одоевцева 1895 – 1990 «Я маленькая поэтесса с огромным бантом»

Поэтесса Ирина Владимировна Одоевцева (настоящее имя – Ираида Густавовна Гейнике) родилась в Риге 15 (27) июля 1895 года в семье адвоката. Она была участницей «Цеха поэтов» и ученицей Николая Гумилёва. В 1921-м, если верить ее воспоминаниям, вышла замуж за Георгия Иванова. По другой информации, официально они поженились только в 1931 году, в Риге. В 1922 году поэтесса эмигрировала и большую часть жизни провела в Париже. Одоевцева была знакома со многими деятелями культуры Серебряного века и парижской эмиграции. Герои ее воспоминаний – Николай Гумилёв, Осип Мандельштам, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Иван Бунин и многие другие. В 1987 году Ирина Одоевцева вернулась в СССР, в Ленинград. Скончалась 14 октября 1990 года. Похоронена на Волковском православном кладбище в Петербурге.

В молодости, да и на протяжении всей жизни, Ирина Одоевцева была исключительно сильной и при этом совершенно очаровательной женщиной – тонкой, изящной блондинкой. Мужчины ею восхищались и обожали, а некоторые дамы поэтического мира – недолюбливали, попросту – завидовали. После смерти отца, известного рижского адвоката, Ирина Одоевцева получила значительное наследство. Жена поэта Осипа Мандельштама (по слухам!) как-то обмолвилась, что Георгий Иванов женился на ней из-за денег. Впрочем, Ирина Владимировна говаривала, что Надежда Мандельштам была единственным человеком, кого она не очень жаловала!

Не особо нежно отзывалась об Одоевцевой и едкая Зинаида Гиппиус. По словам одного из крупнейших специалистов творчества Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой Андрея Ардова, «явная нелюбовь Гиппиус к Одоевцевой (перешедшая заодно и на ее мужа) имела в ту пору подкладку куда как „неинтересную“». 1 декабря 1939 года Гиппиус писала из Биаррица близкой знакомой, шведской художнице-теософке Греете Герелл: «Признаюсь тебе, что я иногда завидую Иванову и Пигалице, богатой и никчемной, завидую, презирая себя, равно как и ее саму». Зависть, обыкновенная зависть.

30 апреля 1920 года на квартире Николая Гумилёва имел место литературный прием-раут в честь прибывшего в Петроград

Андрея Белого. В числе приглашенных – Ирина Одоевцева, а вскоре появился и запоздавший Георгий Иванов. Гумилёв попросил Одоевцеву прочитать ее стихи. Она, взволнованная, не знала, что выбрать. Тогда Гумилёв предложил «Балладу о толченом стекле». Несколько месяцев назад он сам забраковал ее и спрятал в папку с надписью «Братская могила неудачников»! Но волнение прошло, и Одоевцева начала читать. Жутковатая история о солдате, который решил подзаработать на толченом стекле, подмешанном в соль, и был мистически покаран за смерть односельчан, потрясла присутствующих и содержанием, и оригинальной формой предельно упрощенного стиха. «Теперь вас каждая собака знать будет», – резюмировал Гумилёв.

На том приеме, когда к Ирине Одоевцевой пришла ее литературная слава, она впервые увидела Георгия Иванова, ставшего ее любовью. Иванова Одоевцевой представил сам Николай Гумилёв: «Самый молодой член „Цеха поэтов“ и самый остроумный, его называют „общественное мнение“, он добросовестно создает и губит репутации. Постарайтесь ему понравиться». Одоевцева писала об их первой встрече: «Я молча подаю руку Георгию Иванову. В первый раз в жизни. Нет. Без всякого предчувствия». Ученица выполнила и даже перевыполнила совет Гумилёва. Она понравилась Иванову так сильно, что тот, «разрушитель и создатель репутаций», провозгласил «Балладу» «литературным событием» и «новым словом в поэзии», а саму Одоевцеву объявил первооткрывателем жанра современной баллады.

Они соединились в Петрограде 10 сентября 1921 года, чтобы прожить вместе 37 лет, до последнего его дня. Ирина Одоевцева переехала с Бассейной к нему на Почтамтскую, в квартиру, которую Георгий Иванов невольно делил с поэтом Георгием Адамовичем. Вечерами она забиралась с ногами на диван, слева – один Георгий, муж, в своей излюбленной позе, с подогнутой ногой, справа – второй, Адамович. Она – молчком, они – размышляя вслух о вещах, глубоко исполненных мистики. Ее это завораживало, она чувствовала себя приобщенной к высшему духовному знанию.

С Гумилёвым же, своим литературным учителем, Ирина Одоевцева познакомилась значительно раньше, на лекциях «Живого слова», проходивших в Тенишевском училище. Позднее, когда Ирина стала уже «Одоевцевой, его ученицей», как Гумилёв с гордостью называл ее, он со смехом признавался, каким страданием была для него эта первая в его жизни «злосчастная» лекция по поэзии! Одоевцева не считала свои стихи чем-то выдающимся, никогда не мечтала о славе. Самым большим

успехом пользовалось ее стихотворение, кончавшееся строфой:

Ни Гумилёв, ни злая пресса
Не назовут меня талантом,
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Из воспоминаний Одоевцевой «На берегах Невы»: «Как началась наша дружба с Гумилёвым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой? Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. Я иду рядом с Гумилёвым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлинились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас». Гумилёв тогда провожал Одоевцеву до дома в первый раз. Она так разнервничалась, что раскраснелась и была не в силах пошевелиться от ужаса! «Вы нервны, и даже слишком», – сказал он тогда.

Они часто встречались, обсуждали литературу, поэзию и философию. Гумилёв нередко подтрунивал над начинающей поэтессой. Как-то, собираясь на литературный вечер, он сказал: «Я надену фрак, чтобы достойно отметить Пушкинское торжество». На удивленный взгляд Одоевцевой продолжил: «Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах». Одоевцева задумалась: «Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят». На что Гумилёв самодовольно заметил: «А у меня вот имеется лондонский фрак и белый атласный жилет. Я и вам советую надеть вечернее, декольтированное платье. Ведь у вас их после вашей покойной матушки много осталось».

Незадолго до смерти Гумилёв после их длинной беседы сказал Одоевцевой: «Клянусь, где бы и когда бы я ни умер, явиться к вам после смерти и все рассказать». Эта фраза долго преследовала поэтессу, но «он так и не сдержал своего обещания, не являлся». Не остался на память и маленький толстый альбом из пергамента, который Гумилёв подарил поэтессе в начале «ее ученичества». Альбом был куплен в Венеции и предназначался, по словам Гумилёва, для того, чтобы «записывать туда стихи, посвященные Одоевцевой». После ареста Гумилёва в августе 1921 года родные Ирины Одоевцевой уничтожили альбом вместе с черновиком его автобиографии и всеми книгами с подписями.

Это было сделано против воли поэтессы из страха возможного обыска.

После отъезда во Францию Георгий Иванов и Ирина Одоевцева жили в Париже. Когда началась Вторая мировая война, оба поняли, что оставаться в столице опасно. Они перебрались в приморский Биарриц, где жили ни в чем себе не отказывая. Она играла в бридж, устраивала приемы, он – пил.

Время шло. В один прекрасный день немцы реквизировали дом под Биаррицем, а в их парижский дом попала бомба. Достаток стремительно оскудевал. «Это была еще „позолоченная бедность“, – признается Ирина Одоевцева, – и мы себе плохо представляли, что с нами случилось, надеясь на то, что скоро все пойдет по-прежнему, и даже лучше прежнего». Основания для надежд имелись: немцы изгнаны из Парижа, война окончена. Георгий Иванов объявлен первым поэтом эмиграции. А поскольку в СССР поэзии нет, он просто первый русский поэт. Он по-прежнему легко писал, прямо-таки дышал стихами, хотя часто уничтожал написанное. Полоса известности наступила и для Одоевцевой. Она работала на износ, сочиняя пьесы, сценарии, романы по-французски и получая повышенные авансы и гонорары.

После войны, когда денег от наследства у Одоевцевой не осталось, гонорары за романы стали главным источником их с мужем существования. Они снимали номер в парижском отеле «Англетер» в Латинском квартале. Один из сценариев Одоевцевой принял Голливуд, планы строились самые радужные. Но голливудский контракт так и не был подписан. Георгий Иванов нигде не работал, писал стихи только по вдохновению, любил спать до полудня и читать детективы. Тем не менее как поэт он был очень популярен, его даже собирались выдвинуть на Нобелевскую премию. Ирина Одоевцева настолько трепетно относится к мужу, что получила от желчного Бунина ярлык «подбашмачной жены».

Им пришлось перебраться в самый дешевый отель, окно их комнаты выходило в темный дворик, похожий на колодец. У Одоевцевой появился глубокий кашель, и врачи поставили диагноз: чахотка. «Только, ради бога, не говорите Жоржу», – просила больная. Иванов же целыми днями бегал по Парижу в поисках денег и еды. Но ту еду, которую он все-таки добывал, Одоевцева тайком выбрасывала. Она твердо решила умереть, чтобы не быть ему в тягость. К счастью, диагноз оказался ошибочным, у нее – лишь воспаление легких и малокровие от переутомления. Ее выходили, и отныне мечта знаменитой поэтической пары – не шикарный особняк в Париже или у моря, а

всего-навсего старческий приют в Йере, на юге Франции. И хотя они по возрасту не подходили (обоим не было шестидесяти), им с невероятным трудом удалось в нем поселиться. Там Георгий Иванов написал свои последние стихи, вошедшие в «Посмертный дневник», равного которому, пожалуй, нет в русской поэзии. Его не оставляла депрессия и страх смерти, которой он боялся до отчаяния. Но почти все стихи Иванов посвятит той, которую любил до последнего дня: «Я даже вспоминать не смею, какой прелестной ты была…» – писал он о начале их любви.

Георгий Иванов умер в 1958 году в том самом приюте для стариков в Йере. Он умер на больничной койке, чего так боялся. Перед смертью он написал завещание, в котором, обращаясь к эмиграции просил позаботиться о его вдове.

После смерти мужа Ирина Владимировна поселилась в очередной богадельне, на сей раз под Парижем. Лишь через двадцать лет она вышла замуж. Ее мужем стал писатель Яков Горбов. Бывший русский офицер, бывший вольнонаемный французской армии, даже в лагере военнопленных, попав туда тяжелораненым, он не расставался с ее романом «Изольда». Причем пуля поранила и книгу, которую он всегда носил на груди. Горбов окончил во Франции два инженерных вуза, но стал парижским таксистом и одновременно писателем. Один за другим увидели свет три его романа, написанные на французском языке. С Яковом Горбовым Одоевцева прожила четыре года, до самой его смерти. И снова она осталась одна, наедине со своими рукописями.

После перестройки Ирина Владимировна с восторгом приняла довольно опрометчивое, как признавалась потом, решение вернуться в Россию. Союз писателей СССР официально пригласил ее вернуться на родину. Одоевцева приняла предложение немедленно, чем вызвала бурю в эмигрантских кругах. Эмигранты обвинили ее ни много ни мало в предательстве. И только Андрей Седых, секретарь Бунина, сказал: «Одоевцева едет? Ай да девка, молодец!»

В Ленинграде Одоевцевой дали квартиру на Невском проспекте, 13, обеспечили медицинский уход, организовали несколько встреч с читателями. Ее бережно возили с эстрады на эстраду, как говорящую реликвию. Ее мемуары наконец-то были изданы в СССР двухсоттысячным тиражом, который превзошел общий тираж всех ее книг за годы эмигрантской жизни. Она все-таки успела увидеть издание своих произведений на родине. «Живу я здесь действительно с восхищением», – писала Одоевцева подруге Элле Бобровой, перефразируя строку одного из своих стихотворений. Состояние ее здоровья ухудшалось, не давая возможности вернуться к начатой еще во Франции рукописи

третьей книги мемуаров «На берегах Леты». В этой книге Одоевцева собиралась рассказать «с полной откровенностью о себе и других», но книга осталась недописанной.

Ирина Владимировна Одоевцева умерла в Ленинграде 14 октября 1990 года в возрасте 95 лет. Ее похоронили на Волковском православном кладбище. И Серебряный век окончательно остался в прошлом.

В своих воспоминаниях «На берегах Сены» и «На берегах Невы» Одоевцева не написала практически ни одного слова о себе. Эти книги о современниках были написаны с любовью, уважением, нежностью: «Я пишу о них и для них. О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что так или иначе связано с ними…

…Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза… Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог».

Иван Бунин 1870 – 1953 «Как же нет Любви?»

Иван Алексеевич Бунин родился 23 (10) октября 1870 года в Воронеже. Обедневшие помещики Бунины принадлежали к знатному роду, среди их предков – Василий Жуковский и поэтесса Анна Бунина. Мать Бунина, Людмила Александровна, всегда говорила, что «Ваня с самого рождения отличался от остальных детей», что она всегда знала, что он «особенный», «ни у кого нет такой души, как у него». Неслучайно много позже Бунин опишет свои детские ощущения неимоверно точно и пронзительно в своем автобиографическом романе «Жизнь Арсеньева»: «Помню: однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно – бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко, высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно-сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете, – я заплакал, я позвал, разбудил отца… Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди».

В деревне от матери и дворовых маленький Ваня «наслушался» песен и сказок. Воспоминания о детстве – лет с семи, как писал Бунин, – связаны у него «с полем, с мужицкими избами» и обитателями их. Он целыми днями пропадал по ближайшим деревням, пас скот вместе с крестьянскими детьми, ездил в ночное, с некоторыми из них дружил. Подражая подпаскам, он и сестра Маша ели черный хлеб, редьку, «шершавые и бугристые огурчики» и за этой трапезой, «сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир», – как писал Бунин в «Жизни Арсеньева». Уже тогда с редкой силой восприятия он чувствовал, по собственному признанию, «божественное великолепие мира» – главный мотив его творчества. Именно в этом возрасте обнаружилось в нем художественное восприятие жизни, что, в частности, выражалось в способности изображать людей мимикой и жестами, талантливым рассказчиком он был уже тогда. Лет восьми Бунин написал первое стихотворение.

В одиннадцать лет он поступил в Елецкую гимназию. Учился сначала хорошо, все давалось легко, мог с одного прочтения

запомнить стихотворение в целую страницу, если оно его интересовало. Но год от года учение шло хуже, в третьем классе он остался на второй год. Учителя в большинстве были люди серые и незначительные. В гимназии он писал стихи, подражая Лермонтову, Пушкину. Его не привлекало то, что обычно читают в этом возрасте, он читал, как говорил, «что попало».

Гимназию он не окончил, учился потом самостоятельно под руководством старшего брата Юлия Алексеевича, кандидата университета. С осени 1889 года началась его работа в редакции газеты «Орловский вестник», нередко он был фактическим редактором; печатал в ней свои рассказы, стихи, литературно-критические статьи и заметки в постоянном разделе «Литература и печать». Жил он литературным трудом и сильно нуждался. Отец разорился, в 1890 году продал имение в Озерках без усадьбы, а лишившись и усадьбы, в 1893 году переехал в Каменку к сестре, мать и Маша – в Васильевское к двоюродной сестре Бунина Софье Николаевне Пушешниковой. Ждать молодому поэту помощи было неоткуда.

В редакции Бунин познакомился с Варварой Владимировной Пащенко, дочерью елецкого врача, работавшей корректором. Его страстная любовь к ней временами омрачалась ссорами. В 1891 году она сошлась с Буниным, но жили они не венчаясь: ее родители не хотели выдавать дочь за нищего поэта. Этот юношеский роман писателя составил сюжетную основу пятой книги «Жизни Арсеньева», выходившей отдельно под названием «Лика».

Многие представляют себе Бунина сухим и холодным. Вера Муромцева-Бунина рассказывала: «Правда, иногда он хотел таким казаться – он ведь был первоклассным актером», но, «кто его не знал до конца, тот и представить не может, на какую нежность была способна его душа». Он был из тех, кто не перед каждым раскрывался. Он отличался большой странностью своей натуры. Вряд ли можно назвать другого русского писателя, который бы с таким самозабвением, так порывисто выражал свое чувство любви, как он в письмах к Варваре Пащенко, соединяя в своих мечтах образ со всем прекрасным, что он обретал в природе, а также в поэзии и музыке.

В июне 1898 года Бунин уехал в Одессу, где женился на Анне Николаевне Цакни. Их семейная жизнь не ладилась, и уже в начале марта 1900 года они разошлись. Их сын Коля умер 16 января 1905 года.

1900-е годы были новым рубежом в жизни Бунина. Он неоднократно путешествовал по странам Европы и Востока. А в литературе начинавшегося десятилетия с выходом новых книг

Бунин завоевал признание как один из лучших писателей своего времени. Выступал он, главным образом, со стихами, которые сам (в отличие от некоторых критиков!) очень ценил. Нина Берберова вспоминала свою встречу с Буниным в Париже. «А стихи мои вам, конечно, не нравятся?» – спросил он. «Нет, нравятся… но гораздо меньше вашей прозы», – ответила она, записав в воспоминаниях следующее: «Это было его больное место, я еще тогда не знала этого. Но уже через год он вернулся в наших разговорах к теме стихов и прозы, наболевшему вопросу всей его жизни, сказал: „Если бы я захотел, я бы мог любой из моих рассказов написать стихами. Вот, например, «Солнечный удар» – захотел бы, сделал бы из него поэму“. Я почувствовала неловкость, но сказала, что верю…»

В начале 1901 года вышел сборник стихов «Листопад», вызвавший многочисленные отзывы критики. Куприн писал о «редкой художественной тонкости» в передаче настроения. Блок за «Листопад» и другие стихи признавал за Буниным право на «одно из главных мест» среди современной русской поэзии. «Листопад» и перевод «Песни о Гайавате» Генри Уодсворта Лонгфелло были отмечены Пушкинской премией Российской академии наук, присужденной Бунину 19 октября 1903 года. С 1902 года начало выходить отдельными нумерованными томами собрание сочинений Бунина в издательстве Горького «Знание». И опять путешествия – в Константинополь, во Францию и Италию, по Кавказу…

4 ноября 1906 года Бунин познакомился в Москве, в доме писателя и критика Бориса Константиновича Зайцева, с Верой Николаевной Муромцевой. 10 апреля 1907 года Бунин и Вера Николаевна отправились из Москвы в страны Востока – Египет, Сирию, Палестину – и 12 мая, совершив свое «первое дальнее странствие», в Одессе сошли на берег. С этого путешествия началась их совместная жизнь. Об этом странствии – цикл рассказов «Тень птицы» (1907 – 1911). Они сочетают в себе дневниковые записи – описания городов, древних развалин, памятников искусства, пирамид, гробниц – и легенды древних народов, экскурсы в историю их культуры и гибели царств.

21 мая 1918 года Бунин и Вера Николаевна уехали из Москвы – через Оршу и Минск в Киев, потом – в Одессу; 26 января 1920 года отплыли на Константинополь, потом через Софию и Белград прибыли в Париж 28 марта 1920 года. Начались долгие годы эмиграции – в Париже и на юге Франции, в Грассе, вблизи Канн.

Из воспоминаний Александра Бахраха, литературного критика и мемуариста, автора книги «Бунин в халате», о парижских днях жизни писателя:

«У себя дома Бунин приемов не любил. Роль гостеприимного хозяина была ему не по душе, хотя в ограниченном кругу он эту роль всегда выполнял с блеском и со свойственной ему словесной щедростью сыпал всякими остротами и эпиграммами (как бесконечно досадно, что никто не удосужился их записать). Не раз мне приходилось быть свидетелем того, как он разыгрывал шаржи на знакомых и друзей и, в первую очередь, изображал коллег по перу: всегда метко, иногда зло, никого не злобно. Актер он был вообще первоклассный, и не надо удивляться тому, что в свое время Станиславский настойчиво предлагал ему включиться в труппу Художественного театра. Впрочем, в данном случае Станиславский не был тонким психологом: Бунин и театр, Бунин и дисциплина – две вещи несовместимые».

Характер у Бунина был тяжелый. Нина Берберова вспоминала, что «он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость, но сам возражал на это еще большей нелепицей: „Я – от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел“. Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт: „Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!“»

В 1933 году Бунину была присуждена Нобелевская премия, как он считал, прежде всего за «Жизнь Арсеньева». Когда Бунин приехал в Стокгольм, его уже узнавали в лицо. Фотографии Бунина можно было увидеть в каждой газете, в витринах магазинов, на экране кинематографа. На улице шведы, завидев русского писателя, оглядывались. Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал: «Что такое? Совершенный успех тенора». Борис Зайцев рассказывал о нобелевских днях Бунина: «…Видите ли, что же – мы были какие-то последние люди там, эмигранты, и вдруг писателю-эмигранту присудили международную премию! Русскому писателю! И присудили не за какие-то там политические писания, а все-таки за художественное. Я помню, что я вышел в таком возбужденном состоянии (из типографии), вышел на Place d’Italie и там, понимаете, обошел все бистро и в каждом бистро выпивал по рюмке коньяку за здоровье Ивана Бунина!» А Ирина Одоевцева, говоря о величественности писателя, которую он на себя изредка напускал, цитировала комментарии Веры Николаевны: «Присутствовавшие во дворце при вручении ему Густавом V Нобелевской премии восхищались тем, с каким достоинством Бунин держал себя и как великолепно кланялся. Когда король протянул Нобелевскому лауреату руку, и тот пожал ее, нам всем

показалось, что два короля приветствуют друг друга».

Терпение Веры Николаевны было беспредельным. Она заботилась о муже, поддерживала его, печатала его труды. Как-то Одоевцева после разговора о любви и Георгии Иванове спросила Бунина: «Иван Александрович! Вы так же любите Веру Николаевну?» «Веру Николаевну? Нет, – ответил Бунин. – Совсем другое дело. Даже сравнивать дико. Люблю ли я ее? Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу? А отсеки мне руку или ногу, лиши меня воздуха – я изойду кровью, задохнусь – умру».

В какой-то момент семейная жизнь Буниных оказалась нарушенной. По воле Ивана Алексеевича, по его категорическому «быть по сему», в жизнь семьи «включился третий элемент» в лице молодой писательницы Галины Кузнецовой. Это нарушило не только принятые «светом», каким бы он ни был мизерным, условности, но и домашнее равновесие.

Галина Николаевна Кузнецова родилась 10 декабря 1900 года в Киеве, в культурной стародворянской семье. Детство ее прошло в пригороде Киева. В 1918 году, там же, в Киеве, она окончила первую женскую гимназию Плетнёвой, получив вполне классическое образование. Вышла замуж довольно рано из-за непростых отношений в семье. Уже ранней осенью 1920 года Галина оставила Россию вместе с мужем, белым офицером-юристом Дмитрием Петровым, отплыв в Константинополь на одном из пароходов, наполненных разношерстной толпой людей, в отчаянии и безысходности покидавших истерзанную кровавыми новшествами октябрьского переворота родину.

Сначала чета Кузнецовых поселилась было в Праге, где жила в общежитии молодых эмигрантов – «Свободарне», но затем из-за слабости здоровья Галины Николаевны в 1924 году они переехали во Францию.

Вот как писала о своей первой встрече с Галиной Кузнецовой Нина Берберова:

«Первый раз Ходасевич и я были приглашены к Буниным к обеду в зиму 1926 – 1927 года. Его книги, недавно вышедшие, лежали на столе в гостиной. Один экземпляр („Розы Иерихона“) он надписал мне и Ходасевичу, другой он тут же сел подписывать Г. Кузнецовой. В тот вечер я впервые увидела ее (она была со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Америку), ее фиалковые глаза (как тогда говорили), ее женственную фигуру, детские руки и услышала ее речь с небольшим заиканием, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть. Надпись Бунина на книжке была ей непонятна (он называл ее „Рики-тики-тави“), и она спросила Ходасевича, что это значит.

Ходасевич сказал: „Это из Киплинга, такой был прелестный зверек, убивающий змей“. Она тогда мне показалась вся фарфоровая (а я, к моему огорчению, считала себя чугунной). Через год она уже жила в доме Буниных. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Канне или на террасе грасского дома. В 1932 году, когда я жила одна на шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур-Мобур, они оба однажды зашли ко мне вечером, и он ей сказал: „ТЫ бы так не могла. ТЫ не можешь одна жить. Нет, ты не можешь без меня“. И она ответила тихо: „Да, я бы не могла“, – но что-то в глазах ее говорило иное».

Для Бунина любовь к Кузнецовой была сродни солнечному удару. Галину же писатель ошеломил не только и не столько страстностью богатой натуры, блеском своего ума, глубиной душевных переживаний, тонкостью понимания сути ее, чисто женского характера – все это было, да, несомненно. Но было в Бунине что-то еще, что завораживало и властно гипнотизировало Галину. Она постоянно чувствовала себя как бы «оглушенной» им. Безвольно подчинялась магической красивой жесткости его глаз. Словно тонула в нем целиком. Ждала встреч на вокзале, в кафе, в Булонском лесу, в театре, концертном зале. В маленькой комнате с зеленым шелком на стенах и окном на садовую ограду Тюильри. В Галине очень сильно была развита эмпатия. Психологи четко и строго определяют такое свойство человека как «способность переживать и проигрывать в своей жизни лишь чужие эмоции». Не свои, увы! Свои эмоции тогда бывают запрятаны, «зажаты» слишком глубоко. Да и есть ли они? Не иметь своей собственной, сильной внутренней жизни, жить и чувствовать лишь «чужим», все это – черта натур мягких, пластичных, легко поддающихся чужой воле.

«Удочерение» (так этот факт официально назывался при поездке в Стокгольм за получением шведской премии) этой женщины, далеко не подростка, и ее внедрение в бунинскую квартиру оказалось тяжким ударом для Веры Николаевны, который она вынесла с удивительным достоинством. Вот как она писала в одном из своих писем: «Если женщина не живет честолюбием и другими приятными сторонами творческого человека и хочет внимания к своей личности, то от творческого человека она никогда этого не получит. Такой человек жаден, ему все мало, он любит брать от всех, а дает себя только в творчестве, а не в жизни».

О «неприлично бурном романе» Бунина и Кузнецовой вскоре уже судачил весь эмигрантско-светский Париж. «На орехи» в этих пересудах доставалось всем: и седовласым друзьям совсем

потерявшего голову писателя, и жене его, милой Вере Николаевне Муромцевой-Буниной, допустившей такой неслыханный скандал и безропотно принявшей всю двусмысленность своего положения.

Леонид Зуров, еще один «домочадец», человек сложный и психически неуравновешенный, пребывал в постоянном унынии, что только усугубляло общую тяжелую атмосферу в доме: «З. вчера говорил мне, – записывала Кузнецова в дневнике, – что у него бывает ужасная тоска, что он не знает, как с ней справиться, и проистекает она от того, что он узнал, видел в Париже, из мыслей об эмиграции, о писателях, к которым он так стремился. И я его понимаю».

Давний друг семьи Илья Исидорович Фондаминский, редактор и издатель, тоже в свое время деливший кров с Буниными и потому отлично понимавший, что к чему, своими наездами в гости и разговорами усердно и постоянно растравлял и без того неспокойную душу Кузнецовой: «В неволе душа может закалиться, куда-то даже пойти, но мне кажется, все-таки будет искривленной, не расцветет свободно, не даст таких плодов, как при свободе. …Вы могли бы все бросить. Но я знаю, что вы выбираете более трудный путь. В страданиях душа вырастает. Вы немного поздно развились. Но у вас есть ум, талант, все, чтобы быть настоящим человеком и настоящей женщиной», – говорил он ей, решительно предлагая сохранять для нее часть выплачиваемых ей гонораров на отдельном счете в банке, без ведома Ивана Алексеевича. Галина соглашалась нехотя, но уже понимая, что иного выхода у нее просто нет.

Кузнецову смущала не только и не столько ее личная «несвобода женщины и человека». Создавшаяся ситуация усугублялась тем, что молодая писательница по-прежнему фактически была лишена возможности работать и совершенствоваться в своем мастерстве. «…Нельзя садиться за стол, если нет такого чувства, точно влюблена в то, что хочешь писать. У меня теперь никогда почти не бывает таких минут в жизни, когда мне так нравится то или другое, что я хочу писать», «…нельзя всю жизнь чувствовать себя младшим, нельзя быть среди людей, у которых другой опыт, другие потребности в силу возраста. Иначе это создает психологию преждевременного утомления и вместе с тем лишает характера, самостоятельности, всего того, что делает писателя», «Чувствую себя безнадежно. Не могу работать уже несколько дней. Бросила роман», «Чувствую себя одиноко, как в пустыне. Ни в какой литературный кружок я не попала, нигде обо мне не упоминают никогда при „дружеском перечислении имен“».

На какое-то время нервную обстановку в доме частично

разрядило новое лицо: частым гостем здесь стал Фёдор Августович Степун. Под обаяние его личности попали все домочадцы: «Он, как всегда, блестящ. В нем редкое сочетание философа с художником: в обращении он прост, неистощим…» – такова характеристика Веры Николаевны. Степун – философ, критик, писатель, блестящий спорщик, которому ближе всего были авторы-символисты, в частности Блок, Белый с его «Петербургом», – точно специально фехтовался с Буниным, во всем с ним не соглашаясь. 24 декабря 1933 года Вера Николаевна записала в дневнике: «Ян с Ф. А. (Степуном) перешли на „ты“. У них живет его сестра Марга. Странная большая девица-певица. Хорошо хохочет».

Что происходило в декабре 1933 года, доподлинно неизвестно. Никто из очевидцев записей об этих днях не оставил. Если верить воспоминаниям Ирины Одоевцевой, которая близко дружила с Галиной Николаевной, «трагедия» произошла сразу: «Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица – и отчаянная лесбиянка. Заехали. И вот тут-то и случилась трагедия. Галина влюбилась страшно – бедная Галина: выпьет рюмочку – слеза катится: „Разве мы, женщины, властны над своей судьбой?..“ Степун властная была, и Галина не могла устоять…»

Маргарита Августовна Степун родилась в 1895 году в семье главного директора известных на всю Россию писчебумажных фабрик. Ее отец был выходцем из Восточной Пруссии, мать принадлежала шведо-финскому роду Аргеландеров. Судя по всему, Марга получила блестящее образование – семья была не только весьма и весьма состоятельной, но и «просвещенной». Любовь к музыке Марга унаследовала от матери. По воспоминаниям Фёдора Августовича, в доме было «много музыки, главным образом пения. Поет мама и ее часто гостящая у нас подруга».

История и литературоведение сейчас располагает, увы, более чем скудными сведениями о жизни Марги до встречи с Кузнецовой. Судя по тому, что в Париже она принимала участие в заседаниях московского землячества и выступала на вечерах с «московскими воспоминаниями», можно предположить, что до революции она жила в Москве. В эмиграции часто выступала с сольными концертами (в Париже впервые в 1938 году), где своим сильным, «божественным контральто» исполняла произведения Шумана, Шуберта, Брамса, Даргомыжского, Сен-Санса, Чайковского, Рахманинова. Скорее всего, именно музыка и прекрасный голос Маргариты Августовны очаровали Галину Николаевну. Так или иначе, «друг – гениальный музыкант» у

Кузнецовой, наконец, появился. Кто знает, быть может, после нескольких лет под одной крышей с деспотичным эгоистом Буниным и мрачным неврастеником Зуровым Галина Николаевна уже не могла себе позволить влюбиться в мужчину.

Дневник Кузнецовой почти полностью посвящен Бунину, о Марге там сказано очень мало, как, например, в записи 1931 года (от 23 марта):

«День моего ангела. Вечером будут гости, среди них Степуны. <…> Проснулась в ровном смиренном настроении. Думала о маме, о бабушке. Вспоминала Киев, мой счастливый Киев. Не может быть, чтобы сегодня там не думали обо мне. Жива ли бабушка? Уже больше трех месяцев они не пишут…»

Не много о Марге сказано и в воспоминаниях Веры Николаевны. При их издании часть записей не была включена. Приведем одну из записей Веры Николаевны (оригинал находится в библиотеке Лидского университета (Великобритания), с теми отрывками, которые были опущены при официальной публикации:

«8 июня. Поднялись из парка, а потом по нему спустились. Прогулка взяла 3 – 4 часа. Для первого раза достаточно. 3 дня и 2 ночи мы с Яном были одни. Мне понравилось. Какая-то свобода. Марга у нас третью неделю. Она нравится мне. Спокойна, одного со мной круга. Соединяет в себе и прошлое, довоенное, и послереволюционное. Можно с ней говорить обо всем. С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении и ревниво оберегает ее ото всех нас. Если мы разговариваем с ней, то Галя не принимает участия. „Есть люди, которые вас соединяют, а есть которые разъединяют“, – сказал Леня о ней. И правда, у Гали нет желания соединить Маргу с нами, напротив, она всегда подчеркивает: она – моя».

В Грассе Зуров и Бунин пребывали в состоянии постоянной, скрытой ссоры с Кузнецовой. Вера Николаевна замечала это, но не слишком разбиралась, в чем дело: «Галя стала писать, но еще нервна… У нее переписка с Маргой, которую мы ждем в конце мая».

В конце мая 1934 года Маргарита Степун приехала в Грасс. Вот что писала о ней Вера Николаевна в своем дневнике:

«Марга довольно сложна. Я думаю, у нее трудный характер, она самолюбива, честолюбива, очень высокого мнения о себе, о Фёдоре (Степуне) и всей семье. Но к нашему дому она подходит. На всех хорошо действует ее спокойствие. Ян как-то неожиданно стал покорно относиться к событиям, по крайней мере по внешности (14 июня 1934 года)».

«Дома у нас: не радостно. Галя как-то не найдет себя.

Ссорится с Яном, а он – с ней. Марга у нас (8 июля 1934 года)».

«В доме у нас нехорошо. Галя, того гляди, улетит. Ее обожание Марги какое-то странное. Если бы у Яна была выдержка, то он это время не стал бы даже с Галей разговаривать. А он не может скрыть обиды, удивления, и потому выходят у них неприятные разговоры, во время которых они, как это бывает, говорят друг другу лишнее (11 июля 1934 года)».

«Уехала Марга. Галя ездила ее провожать до Марселя (23 июля 1934 года)».

Еще через несколько месяцев в дневнике Веры Николаевны был вынесен окончательный вердикт о Кузнецовой и Степун: «Они сливают свои жизни. И до чего они из разных миров, но это залог крепости: пребывание Гали в нашем доме было от лукавого…»

Бунин потерпел полное поражение там, где совсем не ожидал. Разрыв с Кузнецовой оказался для него настоящим ударом. Впрочем, многие современники, считавшие Бунина человеком на редкость холодным, не делали из этой истории особой драмы. «Кузнецова была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно», – писал Яновский. Многие воспринимали ситуацию юмористически и подтрунивали над Буниным – тот же Яновский, встречая его в Париже, ехидно осведомлялся: «Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном?» «Вот дам между глаз, так узнаешь», – гласил ответ.

Но что бы ни говорили современники, Бунин переживал это расставание глубоко и страстно. К тому же так сложилось, что после начала Второй мировой войны Галина и Марга, волею судеб и обстоятельств, были вынуждены жить в Грассе, все в том же «Монастыре муз». Совсем разорвать отношения не получилось. Вера Николаевна была искренне привязана к Кузнецовой, да и Степун очень ей нравилась. Бунин вынужден был примириться с существованием этой пары. Но она казалась ему странной и нелепой. Он так и не понял и не простил Кузнецову. Его записи, посвященные ей, полны негодования, горечи и сожаления («Главное – тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления: собственно, уже два года болен душевно, – душевно больной…», «Что вышло из Г<алины>! Какая тупость, какое бездушие, какая бессмысленная жизнь!»). Однако Кузнецова, кажется, была счастлива. Она прожила вместе с Маргой до самого конца (пережив ее на пять лет). В 1949 году они переехали в США, с 1955 года работали в русском отделе ООН, с которым в 1959 году были переведены в Женеву. Их последние годы прошли в

Мюнхене.

Последние же годы жизни Бунина прошли в ужасающей нищете и болезнях. Его взаимоотношения с другими людьми – особенно с писателями – отличала все большая озлобленность и агрессивность. Он публиковал свои едкие, желчные «Воспоминания», поносящие всех и вся, а особенно Есенина, Блока, Горького, Волошина, Мережковских, и, кажется, искренне ненавидел весь мир. О нем ходили нелепые слухи; в основном Бунина обвиняли в просоветских симпатиях, быть может, из-за Леонида Зурова, который, продолжая жить в Грассе и парижской квартире Буниных, после войны стал активным участником движения «советских патриотов». Тот, не найдя в себе сил вести самостоятельную жизнь, оставаясь с Буниными до самого конца, прожил творчески малопродуктивную жизнь. На его долю выпало тяжелое психическое расстройство, многолетняя бесплодная работа над так и не оконченным романом «Зимний дворец» и – как финал – богатейшее наследство в виде обширного бунинского архива, который находится теперь в Великобритании, в библиотеке Лидского университета.

Из дневника Бунина: «20 декабря 1940 года. Серо, очень холодно. В доме от холода просто невыносимо. Все утро сидел, не отдергивая занавеса в фонаре, при электричестве. Едим очень скудно. Весь день хочется есть. И нечего – что кажется очень странно: никогда еще не переживал этого. Разве только в июне-июле 19 года в Одессе, при большевиках».

Бунин действительно не отличался оптимизмом… На память приходит, как одна парижская знакомая нашей семьи, Инна Михайловна Бразоль (ее невестка, кстати, прапраправнучка Александра Сергеевича Пушкина!), которой в пору нашего знакомства было уже 90 лет, вспоминала, как ее муж однажды, в те далекие годы, одолжил вместе со своим другом Жировым Бунину машину! Инна Михайловна неоднократно видела Бунина и часто произносила одну и ту же фразу: «Ванечка хочет есть! Ванечка голодный! Его бедной жене было за него так стыдно!» Бунин просил машину на один день, а вернул только через две недели, да еще без бензина! Как раз во время немецкого наступления на Париж, когда все бежали и до смерти нужно было уехать. Бунин, кстати, не позабывал этой истории, мельком упомянув в «Окаянных днях» этот эпизод:

«Сидели в Париже, потому что молодой Гавронский работал над моими нижними передними зубами. А алерты [11] становились все чаще и страшнее (хотя не производили на меня почти никакого впечатления). Наконец, уехал – на автомобиле с Жировым, в 6 часов вечера 22-го мая. Автомобиль был не его, а

другого шофера, его приятеля Бразоля, сына полтавского губернского предводителя дворянства, это ли не изумительно – того самого, что председательствовал на губернских земских собраниях в Полтаве, когда я служил там библиотекарем в губернской земской управе (22.07.1940)».

Чем-то забавна вся эта история, не так ли?

В одном из своих рассказов («Ночь») Бунин, рассуждая о полноте чувства, любви, смерти, возможно, написал о самом главном в самом себе. Рассказ заканчивается так:

«Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним – опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегаю с балкона, иду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней… Нет, нет не настал мой срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще, как женщина, вожделенно мне это водное ночное лоно…
Боже, оставь меня!»

Зинаида Гиппиус 1869 – 1945 «Мне нужно то, чего нет на свете»

О Зинаиде Гиппиус современники писали много. Часто как о «зеленоглазой наяде, сатанессе, русалке, дьяволице с лорнетом». Ее острый, критичный ум не терпел тонкого кружева и излишней теплоты слов. Нина Берберова вспоминала, что Гиппиус «искусственно выработала в себе два качества: женственность и спокойствие, но в ней было мало женственного, и внутри она не была спокойна!»

Мужчины нередко побаивались Гиппиус, хотя втайне и восхищались ее неженским умом. Павел Флоренский, религиозный философ и человек необычайно строго судивший о людях, вспоминал о Зинаиде Николаевне:

«Хотя я видел ее всего несколько часов, но многое понял в ней, и прежде всего то, что она неизмеримо лучше, чем кажется. Я знаю, что если бы я только и видел ее, что в обществе, то она возбуждала бы некоторую досаду и недоумение. Но когда я увидел ее в интимном кругу друзей и домашних, то стало ясно, что, в конце концов, то, что способно возбудить досаду, есть просто результат внутренней чистоты, – внешняя изломанность, – проявление внутренней боязни сфальшивить… Я хорошо знаю, что бывают такие люди, которые, боясь неестественности, надевают маску ее – такую неестественность, которая не искажает подлинную природу личности, а просто скрывает ее».

Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 8 (20) ноября 1869 года в городке Белев Тульской губернии, в семье известного юриста Николая Романовича Гиппиуса. Раннее детство Зинаиды Николаевны было кочевым: из-за постоянных служебных переездов отца семья не жила на одном месте подолгу – временно обитали то в Саратове, то в Туле, то в Харькове. Жили и в Петербурге, так как Николай Романович, талантливый человек, незаурядная личность, прекрасный оратор, не достигнув еще и тридцати лет, был назначен обер-прокурором Сената. Правда, ненадолго. Николай Романович в сыром климате столицы начал тотчас хворать, и ему пришлось срочно выехать с семьей на юг, в Нежин, к новому месту службы, председателем тамошнего суда. Все дети унаследовали от обожаемого ими отца склонность к чахотке. Именно эта коварная болезнь слишком рано свела Николая Романовича в могилу и безумно страшила Анастасию Васильевну, его вдову и мать Зинаиды Николаевны, смутным призраком новых потерь.

Чтобы залечить раны, требовалось время. Родственники усиленно приглашали Анастасию Васильевну и детей ехать с ними на дачу в Боржоми, и она согласилась. После Москвы и скучного лечения в Ялте жизнь в теплом горном Боржоми вместе с большою и веселой семьей Зине очень понравилась: музыка, танцы, верховая езда, море книг, первые поклонники. Душа ее понемногу оттаивала. Она вернулась сюда и ровно через год, в 1888-м. Ей было тогда неполных девятнадцать лет. И именно здесь, на скромной даче, она и познакомилась с будущим своим мужем, двадцатитрехлетним поэтом Дмитрием Мережковским, только что выпустившим в свет свою первую книгу стихов и путешествующим по Кавказу.

Он отличался от роя поклонников Зиночки тем, что был серьезен, много молчал, а когда все-таки заговорил, однажды сопровождая ее на прогулке, то неожиданно посоветовал ей прочесть сочинения английского философа Спенсера. Красавица была ошеломлена. Обычно кавалеры предлагали ей прочесть только их беспомощные стихи или спешно тянулись за поцелуем. С Мережковским же было ощущение, что их знакомство продолжалось уже тысячу лет. Через несколько дней он сделал предложение, и Зинаида Николаевна приняла его без каких-либо колебаний.

На свадьбе, 8 января 1889 года, не было ни свидетелей, ни толпы знакомых, ни цветов, ни венчального наряда. Только родные и два шафера – лишь для того, чтобы держать венцы над головой. После венчания молодые разошлись в разные стороны: Зинаида Николаевна отправилась к себе домой, Дмитрий Сергеевич – в гостиницу. Они встретились довольно буднично утром, в гостиной, за чаем, в доме вчерашней невесты, где и было объявлено неожиданной гостье – гувернантке, что «Зиночка-то у нас вчера замуж вышла!».

Затем они вернулись в зимний сонный Петербург, где и началась их семейная жизнь в новой квартире, снятой и обставленной матерью Дмитрия Сергеевича в качестве свадебного подарка. Именно здесь в знаменитом Доме Мурузи на Литейном проспекте и начался путь Зинаиды Николаевны Гиппиус-Мережковской как поэта, романиста и критика. Как Личности. Женщины. Чуда Серебряного века. Это был очень долгий путь, длиной в пятьдесят с лишним лет. Последнюю свою литературную работу – редакцию альманаха «Свободный путь» – она завершила за несколько месяцев до смерти в Париже, летом 1945 года.

Поэтесса вспоминала о своем браке скорее как о начале литературного пути: «Между нами происходили и ссоры, но

ссоры, непохожие на обычные, супружеские. Моя беда была в том, что я, особенно в молодости, не умела найти нужные аргументы, чтобы доказать неправильность его идеи в том или другом его произведении, и оказывалась „побитой“. Я не понимала, например, идеи замысла его романа „Леонардо“».

Эти ссоры были своеобразной игрой между Зинаидой Гиппиус и Мережковским. Игрой, которая длилась всю жизнь, почти тридцать лет, и была необходима обоим. Говорили, что супруги ни на один день не расстались в течение всей жизни, и что их отношения были и остались сердечными и чисто платоническими.

По словам Нины Берберовой, Гиппиус постоянно играла. В Петербурге вечерами «она сидела у себя на диване, под лампадой, в какой-нибудь старой, но все еще элегантной кацавейке, куря тонкие папироски, или, приблизив работу к глазам, шила что-то (она любила шить), поблескивая наперстком на узком пальце. Запах духов и табаку стоял в комнате. „Где мои кусочки?“ – спрашивала она за чаем, приближая к себе хлебную корзинку. В. Злобин ставил перед ней чашку. „Где моя чашка?“ – и она обводила невидящими глазами стены комнаты. „Дорогая моя, она перед вами“, – терпеливо говорил Злобин своим умиротворяющим тоном. – А вот и ваша булочка. Ее никто не взял. Она ваша».

Супруги давно и отчаянно планировали совершить небольшое путешествие в Италию, оно было им необходимо – для новой очень серьезной работы Дмитрия Сергеевича: романа о Леонардо да Винчи. Деньги заработать удалось-таки, разумеется, сообща, но львиная доля гонораров принадлежала Зинаиде Николаевне, ее блестяще резкие критические статьи становились быстро известны! «Пятницы» Полонского, «среды» Плещеева, литературные «субботы» в Доме Мурузи были на время отставлены прочь, и Мережковские вскоре уже скромно, но путешествовали, в спальном вагоне Восточного экспресса, с восторгом и восхищением молодости по местам, связанным с Леонардо: Флоренция, Рим, Мантуя, Генуя.

Встречались они в Италии и с Антоном Чеховым и Алексеем Сувориным, бывшими проездом во Флоренции и Риме, и удивлялись их невообразимой спешке: скорее, скорее прочь от первозданной красоты, разлитой во всем, даже и в небе! Чувство восхищения Италией в пору ее самых счастливых, молодых лет разлито в каждой строке мемуаров Зинаиды Гиппиус!

В библиотеках Флоренции она делала тщательные обширные выписки из древних фолиантов, которые Дмитрию Сергеевичу по его просьбе привозили на тележках: столь они были тяжелы и

огромны! Во Флоренции же Мережковский впервые пришел к сложной идее об объединенной церкви – другими словами, именно в его голове зародилось начало столь популярного позже экуменистического движения. По возвращении в Петербург супруги Мережковские выхлопотали у Синода разрешение устраивать у себя на квартире религиозные, духовные, общественные собрания, где Дмитрием Сергеевичем с увлечением говорилось об общности людских душ, о том, что Бог на самом деле для всех един.

Странно, что слова эти не находили понимания даже у тех, кто с постоянным любопытством посещал популярный салон Мережковских. «Избранники» воспринимали лекции с увлечением, случалось, что и аплодировали. Но уже вскоре столь оригинальная для России идея, имеющая в основе своей очень здравое начало сплочения, соединения разобщенной «толпы духовно одиноких людей», о которой с такою горечью писала Зинаида Николаевна, оказалась совершенно переврана, если не сказать – извращена. Петербургское и московское общество тоже вдруг все разом, пылко заговорило, нападая на неразлучную чету Мережковских, «о заоблачности, чужеродности их идей, опасности столь явной абстракции Бога, о „холодном презрении сугубо православных традиций!“. И даже о „некоем заигрывании с дьяволом!“».

Одним из самых правдивых и откровенных документов революционных событий можно назвать маленькие, плохо сшитые черные тетради, в которых изящным почерком, чернилами, сильно разбавленными водой, была записана день за днем хроника жизни четы Мережковских в красном послеоктябрьском Петрограде. Весьма немногие исследователи русской истории берут на себя смелость цитировать резкие, горькие, ужасающие по правдивости и откровенности, боли и отчаянию дневники Гиппиус:

«22 декабря 1917 года… Вчера был неслыханный снежный буран. Петербург занесен снегом, как деревня. Ведь снега теперь не счищают, дворники – на ответственных постах, в министерствах, директорами, инспекторами и т. д. Прошу заметить, что я не преувеличиваю, это факт. Министерша Коллонтай назначила инспектором Екатерининского института именно дворника этого же самого женского учебного заведения. Город бел, нем, схоронен в снегах. Трамваи еле двигаются, тока мало (сегодня некоторые газеты не могли выйти). Мы все более и более изолируемся. Большевики кричат, что будут вести священную войну с немцами. Никакой войны, благодаря их деяниям, я думаю, вести уже нельзя, поэтому это какой-нибудь

ход перед неизбежным, неотвратимым, похабным миром.

О, Россия моя Россия! Ты кончена?»

«Все, в ком была душа, – и это без различия классов и положений, ходят как мертвецы. Мы не возмущаемся, не страдаем, не негодуем, не ожидаем. Мы ни к чему не привыкли, но ничему и не удивляемся. Мы знаем также, что кто сам не был в нашем круге – никогда не поймет нас. Встречаясь, мы смотрим друг на друга сонными глазами и мало говорим. Душа в той стадии голода (да и тело!), когда уже нет острого мученья, наступает период сонливости. Перешло. Перекатилось. Не все ли равно, отчего мы сделались такими? И оттого, что выболела, высохла душа, и оттого, что иссохло тело, исчез фосфор из организма, обескровлен мозг… От того и от другого – вместе… Жить здесь невозможно. Душа умирает».

Они покинули Россию в 1920 году, пережив два погромных обыска, полную распродажу всех носильных вещей, расстрелы друзей, смерть знакомых от голода. Они переехали – легально, чудо! – польскую границу на ветхих, поломанных санях и с самым скудным багажом, какой только можно было вообразить: пара чемоданов с износившимся бельем, рваным платьем и грудой рукописей и записных книжек на дне.

В Париже их ждала серая от пыли, неуютная от нежилого духа, с соломенною мебелью, но своя квартира, из которой их никто не мог выселить за самый главный признак буржуазности – обилие книг. Они принялись обустраивать свой, по-прежнему сложный, теперь уже – навсегда – эмигрантский, но вполне свободный, человеческий быт. Обзавелись знакомыми, которых пытались поддерживать всем, чем только умели и могли.

В этой квартире вскоре снова уютно засияла лампа под зеленым абажуром, снова послышались звуки горячих, «непримиримых» споров между супругами, которых опасались непосвященные и за которыми с улыбкою наблюдали давние друзья. Вновь закипела литературная работа, вновь Зинаида Николаевна вела по ночам свои обширные дневники, переписку с читателями и издателями Дмитрия Сергеевича, которую он всегда препоручал ей, ибо находил, что она более него обладает пленительным талантом общения с людьми. Она подходила ко всему скрупулезно и педантично, письма непременно сортировала по срочности, ни одно не оставалось неотвеченным. Каждый день выходила с визитами, заботилась об обедах и вечерних чаях, на которых могло быть сразу более двадцати человек. И тогда у нее уставала рука разливать чай, хоть ей и помогали неизменные приятели – литературные секретари, такие, например, как Дмитрий Философов или Владимир Злобин. Их, да и многих других,

непременно и со слащаво-лукавой усмешкой обыватели и посетители парижского салона тут же записывали в любовники Зинаиды Николаевны.

Конечно, Зинаида Николаевна была когда-то мучительно влюблена в барственного красавца – эстета Дмитрия Философова, – об этом говорят ее письма к нему, ее странные, нежные, пространно отвлеченные записи в дневниках 1923 года, вот только никак не мог ей странный «чаровник-умник Митенька» ответить взаимностью – не интересовался женщинами!

Позже, в дневниках и письмах к друзьям, резких и обнаженных душевно, как всегда, она сама признавалась, что любит истинно, во всей глубине этого чувства только одного Дмитрия Сергеевича, мужа, и никого другого любить не может! Каковы были грани этой «золотой», полувековой любви, пусть судит Бог, хотя одно лишь косвенное свидетельство (из случайного разговора) того, что они с Дмитрием Сергеевичем ни единой ночи за все годы супружества не провели не вместе, говорит о многом, не правда ли?

Модные сейчас литераторы-мемуаристы, составители разных «исторических антологий на тысячу знаменитых имен» говорят с презрительною усмешкою, что она влюблялась более в женщин, чем в мужчин. Весьма сомнительное заключение. Она довольно презрительно и резко говорила о пороке «голубизны – розовости» – в своих мемуарах, особенно посетив Италию, где эти пороки просто роскошно цвели тогда! Но не менее резко Гиппиус отзывалась и о женщинах, с которыми ей весьма часто было неинтересно и скучно.

Гиппиус с Мережковским до самой смерти Дмитрия Сергеевича так и прожили, не расставаясь ни на один день, ни на одну ночь. И продолжали любить друг друга никогда не ослабевающей любовью. Они никогда не знали скуки, разрушающей самые лучшие браки. Им никогда не было скучно вдвоем. Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга. Они были далеки от стереотипной, идеальной супружеской пары, смотрящей на все одними глазами и высказывающей обо всем одно и то же мнение. Они были «идеальной парой», но по-своему. Неповторимой идеальной парой. Они дополняли друг друга. Каждый из них оставался самим собой. Но в их союзе они как будто переменились ролями – Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский – женским. Она являла собой логику, он – интуицию.

Из воспоминаний Ирины Одоевцевой:

«Гиппиус и Мережковский представляли собой на улице

совершенно необычайное зрелище. Как известно, парижан редко чем можно удивить. Они равнодушно смотрят на китайцев с длинной косой – тогда такие китайцы еще встречались, – на восточных людей в тюрбанах, на японок в вышитых хризантемами кимоно, с трехъярусными прическами, на магарадж и прочих. Но на идущих под руку по улицам Пасси Гиппиус и Мережковского редко кто не оборачивался и, остановившись, не глядел им вслед. Они шли под руку – вернее, Мережковский, почти переломившись пополам, беспомощный и какой-то потерянный, не только опирался на руку Гиппиус, но прямо висел на ней. Гиппиус же, в широкополой шляпе, замысловатого, совершенно немодного фасона – тогда носили маленькие „клоши“, надвинутые до бровей, – с моноклем в глазу, держалась преувеличенно прямо, высоко подняв голову. При солнечном свете белила и румяна еще резче выступали на ее лице. На ее плечах неизменно лежала рыжая лисица, украшенная розой, а после визита Мережковских к королю Александру Сербскому – орденом Саввы II степени».

Окно мое высоко над землею,
Высоко над землею.
Я вижу только небо с вечернею зарею,
С вечернею зарею.
И небо кажется пустым и бледным,
Таким пустым и бледным…
Оно не сжалится над сердцем бедным,
Над моим сердцем бедным.
Увы, в печали безумной я умираю,
Я умираю,
Стремлюсь к тому, чего я не знаю,
Не знаю…
И это желание не знаю откуда,
Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
Чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,
Но плачу без слез о неверном обете,
О неверном обете…
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

Дмитрий Мережковский 1865 – 1941 «Люблю иль нет – легка мне безнадежность»

В своих воспоминаниях писатели, близко знавшие Мережковских, не всегда упоминали о них тепло. Андрей Белый, например, писал, что «Мережковский носил туфли с помпонами, и эти помпоны определяют всю жизнь Мережковского. Он и говорит с помпонами, и мыслит с помпонами». Определение не меткое, но, во всяком случае, недоброжелательное. По словам Тэффи, «Андрей Белый и сам был „с помпонами“»! Алексей Ремизов называл Мережковского «ходячим гробом», а о Зинаиде Гиппиус отзывался как о «вся в костях и пружинах – устройство сложное, – но к живому человеку никак». «Жестоко и неправильно», – комментировала Тэффи подобного рода воспоминания.

Дмитрий Сергеевич Мережковский всю свою жизнь, а особенно после смерти матери (спустя два месяца после его женитьбы на Зинаиде Гиппиус, в марте 1889 года) был одинок. У него не было ни одного близкого друга. В конечном итоге не было и семьи, в большом смысле этого слова. Безумно любивший супругу, статский советник Сергей Иванович Мережковский, столоначальник придворной канцелярии Александра II, отец писателя, на свое жалованье содержал огромное семейство – десять детей и скрупулезно подсчитывал каждый гривенник. Мелочными придирками по хозяйству, на кухне, в детской он изводил обожаемую жену – красивую, хрупкую, но не защищавшуюся ничем от его упреков. Она повышала голос лишь тогда, когда надо было отстаивать интересы детей. Насколько можно понять из отрывочных воспоминаний младшего сына, Дмитрия, особо любимого матерью, жизнь ее с мужем была столь тяжела, что в конце концов бесконечные огорчения и ссоры свели очень красивую и совсем еще не старую женщину в могилу.

Дом Мережковских внезапно опустел. Дети разлетелись из разрушенного гнезда в разные концы. Ошеломленный пустотой и тишиной семейного очага, да и своего сердца, Сергей Иванович почти тотчас после похорон уехал за границу, увлекся спиритизмом, устраивал сеансы потустороннего общения с покойной женой, а с семьею своей почти не общался. За границею он и умер, почти двадцать лет спустя после смерти жены, ровно день в день ее кончины, тоже 20 марта, но уже 1908 года.

Дмитрий Сергеевич, не имевший ни с кем из родных душевной близости, остался бы с тяжестью горя потери матери один на один, если бы не молодая жена Зинаида Гиппиус. Она, может быть, и не очень умело – считала себя весьма непрактичною хозяйкой, – но трогательно о нем заботилась. Он был глубоко благодарен ей за это, воспринимал себя единым целым с нею, зная, что, даже споря, она понимает его и разделяет с ним главное в его взглядах, мыслях, надеждах, планах. Она просто немедленно после всех нужных, но бесконечно тягостных кладбищенских церемоний увезла опустошенного Мережковского в Крым, в Алупку, на снятую ею дачу, туда, где уже вовсю цвели апрельские розы.

«Дмитрий, в этих любимых местах, немножко прояснился, – писала Гиппиус. – Особые крымские запахи, лаврами и розами, обоим нам знакомые, особенно ему милые… Он показывал мне Алупкинский дворец, где мальчиком целовал руку современнице Пушкина. Тихие руины Ореанды, и там, на высоте, белая колоннада… Трудно нам было среди всего этого, да еще и по молодости лет, думать о смерти… Но мы думали, только уже как-то более светло».

Там, в Крыму, Дмитрий Сергеевич попытался вновь вернуться к работе над очерками о Древнем Египте, о Толстом и Достоевском, встречался со знакомыми и друзьями.

Неудовлетворенность существующей церковью в какой-то момент привела Мережковского к размышлениям, от которых правоверный православный просто отшатнулся бы с ужасом. Для него одной из центральных тем его творчества стала тема сопоставления Христа и Антихриста. Подобные исследования вызвали бурю неоднозначных мнений. По определению Бердяева, «иногда даже оставалось впечатление, что Мережковский стремится синтезировать Христа и Антихриста». По словам же самого Мережковского, он надеялся «соединить два начала христианства и язычества, чтобы получить полноту жизни». Согласно его позиции, демоническая сила Антихриста коренилась сперва в самодержавии, а позже в большевизме. Демонические силы также отождествлялись Мережковским с православием.

Критика его работ не была особо справедлива. В то время очень многие писатели экспериментировали, «общались с темными силами». Не только Мережковские, но и другие символисты формировали свою художественную и общественную позицию под воздействием сектантства. К примеру, один из наиболее известных стихотворных сборников Константина Бальмонта «Зеленый Ветроград. Слова поцелуйные» был не чем иным, как художественной стилизацией на тему хлыстовских

молений. Хлысты были членами одной из старейших русских внецерковных религиозных сект, которые не признавали церковную обрядность, хотя в целях конспирации и могли посещать православные церкви. Богослужения хлыстов (радения) проходили ночью и состояли в самобичевании, кружении, при котором они доходили до состояния экстаза, а иногда заканчивались сексуальными оргиями.

Зинаида Гиппиус характеризовала начало религиозного учения молодого Мережковского значительно проще, яснее и правдивее: «Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всякой обрядности (отсутствие известных традиций в семье сказалось). Когда я в первую нашу Пасху захотела идти к заутрене, он удивился: „Зачем? Интереснее поездить по городу, в эту ночь он красив“. В следующие годы мы, однако, у заутрени неизменно бывали. Но, конечно, не моя детская, условная и слабая вера могла на него как-нибудь повлиять. Его, в этот же год молодости, ждало испытание, которое не сразу, но медленно и верно повлекло на путь, который и стал путем всей его деятельности».

Рассказывать о Мережковских очень трудно. По словам Тэффи, «оба они были совсем особенные, совсем необыкновенные. С обычной меркой к ним не подойдешь. Каждый из них – и Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна Гиппиус – мог бы быть центральным лицом большого психологического романа, если даже совершенно вычеркнуть их литературные дарования, а просто рассматривать их как людей, которые жили-были. Их необычайный, почти трагический эгоизм можно было понять, если найти к нему ключ. Ключ этот – полное отделение себя ото всех, отделение как бы органическое, в котором они и не чувствовали себя виноватыми».

Рассказывали, что когда Мережковскому сказали: «Дмитрий Сергеевич, объявлена война», – он совершенно спокойно заметил: «Ну что ж, ведь поезда будут ходить». Мережковские, и правда, жили странно и до такой степени не понимали реальной жизни. Из уст Мережковского было даже странно слышать такие простые слова, как «уголь», «кипяток», «макароны». По словам Тэффи, «„чернила“ – легче было вынести – все-таки это слово имеет отношение к писанию, к идее!».

Впрочем, подобное отношение к миру, возможно, присутствует в жизни любого писателя. Мережковские не только общались со всеми известными литературными деятелями, устраивали литературные вечера, но и были связаны с ними внутренне: общим творчеством и поисками новых форм и идей…

Например, весной 1904 года они перед очередной поездкой за границу посетили Льва Толстого в Ясной Поляне.

«Утром в день нашего отъезда… – вспоминает Гиппиус, – Л. Толстой, поднимаясь по внутренней лесенке в столовую к чаю вместе с Дмитрием Сергеевичем, сказал ему: „Как я рад, что вы ко мне приехали. А то мне казалось, что вы против меня что-то имеете“. „И он удивительно хорошо, – рассказывал мне потом Дмитрий Сергеевич, – посмотрел на меня своими серыми, уже с голубизной, как у стариков и маленьких детей, глазами“».

Л. Толстой, оказывается, читал все – не только о себе, но вообще все, что тогда писалось и печаталось. Даже и наш «Новый путь» читал. Наверно, знал он и дебаты в собраниях по поводу его «отлучения», знал и книгу Дмитрия Сергеевича «Л. Толстой и Достоевский».

Долгое время чета Мережковских дружила с литератором Дмитрием Философовым – двоюродным братом Сергея Дягилева. «Еще летом (1905 года), – рассказывала Гиппиус, – Дмитрий Сергеевич высказал мысль, что хорошо бы нам троим поехать на год или даже два-три за границу, где мы могли бы сжиться совместно и кое-что узнать новое, годное потом и для дела в России. Дмитрия Сергеевича интересовало католичество, и не только оно, а еще и движение „модернизма“, о котором мы что-то слышали глухо, потому что из-за цензуры определенные вести до нас не доходили… Нас всех интересовали и наши русские „революционеры“, находящиеся в эмиграции… Отсюда начинается особый период нашей жизни, втроем в Париже. Он длился, с краткими отлучками из Парижа – в Бретань, в Нормандию, на Ривьеру или в Германию, – около двух с половиной лет, до нашего возвращения в Петербург в июле 1908 года».

Эти странные взаимоотношения были непросты. Писательница Тэффи вспоминала, как странно отреагировал Мережковский на весть о кончине Философова. Когда прошел слух о смерти литератора, Тэффи тотчас подумала: «Придется все-таки сообщить об этом Мережковским». В тот же день она встретила их на улице: «Знаете печальную весть о Философове?»

«А что такое? Умер?» – спросил Мережковский.

«Да».

«Неизвестно отчего? – удивился Мережковский и, не дожидаясь ответа, добавил: – Ну идем же, Зина, а то опять опоздаем и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане».

Мережковским часто казалось, что живут они плохо. В Биаррице – особенно. Тэффи считала, что «им, вероятно, особенно

тяжело, потому что всякое житейское неустройство они принимали как личную обиду». В то время беженцам отвели великолепный отель «Мэзон Баск»: каждому прекрасно обставленную комнату с ванной за десять франков в день. Но Мережковские этого не платили: считали несправедливостью. Не очень утешало их и то, что делами заведовал секретарь Владимир Злобин, трогательно преданный друг, талантливый поэт, который даже забросил литературу, отдав себя целиком заботам о них.

По воскресеньям они принимали знакомых. В большой столовой гости садились вокруг пустого стола и мирно шутили. В другом конце комнаты в шезлонге лежал Мережковский и злился. Гостей встречал громким криком: «Чая нет. Никакого чая у нас нет».

«Вот, мадам Д. принесла печенья», – говорила Зинаида Николаевна.

«Пусть несут. Пусть все несут!» – мрачно приказывал Мережковский.

«Ну что, Дмитрий Сергеевич, – спрашивала Тэффи, вспоминая его постоянную фразу, – страдания облагораживают, не правда ли?»

«Облагораживают», – коротким лаем отвечал он и отворачивался.

Во время войны Мережковские проявляли нарочитое отвращение к немцам. Когда выходили на улицу, Зинаида Николаевна оглядывалась кругом – не видно ли где немцев, и, если видно, сейчас же захлопывала калитку и выжидала, чтоб прошли, а в свободное время рисовала на них карикатуры. Немцы же, молодые студенты, относились к чете Мережковских с уважением, часто приходили благоговейно попросить автографа, так как знали писателя по переводам. Мережковский при этом приговаривал: «Скажите им, чтоб несли папиросы». Или: «Скажите, что нет яиц».

А Гиппиус добавляла: «Вы все как машины. Вами командуют начальники, а вы слушаетесь».

Студенты обижались: «Да ведь мы же солдаты. У нас дисциплина. Мы же не можем иначе», – отвечали они.

«Все равно вы машины», – повторяла она.

Свое исследование о Мережковских Тэффи заканчивает любопытным эпизодом. «Я долго и внимательно приглядывалась к этому странному человеку, – писала она. – Все чего-то искала в нем и не находила. И вот как-то, уже незадолго до его смерти, когда Мережковские вернулись в Париж, разочарованные в немецких покровителях, без денег (пришлось продать даже золотое стило, поднесенное в дни Муссолини итальянскими

писателями), – сидели мы втроем…»

Тэффи в какой-то момент сказала об одном человеке: «Да, его очень любят».

«Вздор! – оборвал возмущенный Мережковский. – Сущий вздор! Никто никого не любит. Никто никого».

Его лицо потемнело.

«Дмитрий Сергеевич! Почему вы так думаете? Вы просто не видите и не замечаете людей», – возразила Тэффи.

«Вздор. И вижу, и знаю», – настаивал Мережковский.

Тэффи очень расстроилась. Ей почудилось, что в этих словах были и тоска, и отчаяние.

«Дмитрий Сергеевич! – продолжала она. – Вы не видите людей. Вот я все подсмеиваюсь над вами, но ведь, в сущности, я люблю вас».

Сказала, точно перекрестилась. Он взглянул в недоумении:

«Ну да, вы просто любите мои произведения, но не меня же».

Тэффи настаивала:

«Нет, по-человечески люблю именно вас, Дмитрия Сергеевича».

Он помолчал, повернулся и медленно пошел в свою комнату. Вернулся и подал писательнице свой портрет с ласковой надписью, который она хранила всю жизнь.

«Вспоминая потом часто о смерти матери Дмитрия Сергеевича, – писала Гиппиус, – странная мысль о какой-то уже нездешней о нем заботе приходила ко мне: как бы он это пережил, вдруг оставшись совершенно один, т. е., если бы, благодаря фантастическому сцеплению случайностей, не встретил ни меня, ни кого другого, кого мог бы любить и кто любил бы его. Я не могла заменить ему матери (никто не может, мать у каждого только одна), но все же он не остался один».

Вячеслав Иванов 1866 – 1949 «Мы – две руки единого креста»

Вячеслав Иванов родился 16 (28) февраля 1866 года в Москве в семье геодезиста. Окончив Первую московскую гимназию, он продолжил обучение сначала на историко-филологическом факультете Московского университета, затем в Берлинском университете, где, помимо филологии, много занимался историей, а также философией. В 1896 году приняли его диссертацию, но устный экзамен на ученую степень Иванов так и не сдавал.

В 1894 году поэт познакомился с Лидией Зиновьевой-Аннибал, поэтессой и переводчицей, спустя пять лет ставшей его женой.

О Лидии Зиновьевой-Аннибал слагали легенды. Когда она, в огненно-красной тунике, прихотливо задрапированной на плечах, обнажавшей ее руки, появлялась в комнате без мебели, с накинутыми на подушки оранжевыми коврами, смолкали готовые вспыхнуть споры, взоры людей жадно обращались к ней, ловя каждое произнесенное ею слово. Она получила имя Диотимы – божественной в красоте и мудрости женщины из известного диалога Платона «Пир». В кружке мужа играла роль вдохновительницы. Николай Бердяев назвал ее душою, «Психеей» ивановских «сред»: «Она не очень много говорила, не давала идейных решений, но создавала атмосферу даровитой женственности, в которой протекало общение». Была эксцентрична, горда, независима, самолюбива, вызывающе умна.

Ивановские «среды», «башня Иванова» – значимые вехи в истории Серебряного века. Близкие к «новым» течениям в искусстве поэты и музыканты, друзья Вячеслава Иванова собирались в знаменитой ивановской «башне» на Таврической, 25. Это был один из идейных центров русского символизма, «творческая лаборатория» поэтов; в литературных «средах» Иванов видел прообраз «соборных» общин. Здесь гостей и встречала хозяйка дома. Когда ей казалось, что разговоры на «башне» заходят в тупик, прерывала их веселой шуткой, возвращала присутствующих на землю, сознательно разрушая «призрачно-прозрачную духовность» этих собраний.

Вот как вспоминал об этом времени и об Иванове Борис Зайцев:

«Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В

квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на „особенное“ считалось, что он живет в „башне“, а сам он „мэтр“ (сколько этих мэтров „невысокого роста“ приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделать! В Москве Брюсов считался „магом“ – этот маг заведовал отделом кухни в Литер. кружке). Такое было время. „Я люблю пышные декадентские наименования“, – говорил мне один приятель литературный в Москве. Слова „мэтр“ я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой „башне“ (! – тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал – собеседник он был исключительный».

В жилах Лидии Зиновьевой-Аннибал текла кровь «арапа Петра Великого», среди предков были сербы и шведы, родственники принадлежали к сановной знати Петербурга. Художница Маргарита Сабашникова оставила ее словесный портрет: «Странно-розовый отлив белокурых волос, яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи. Лицом она походила на Сивиллу Микеланджело – львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда; маленькие уши парадоксально увеличивали впечатление этого львиного облика. Такая любого Диониса швырнет себе под ноги».

Современники упоминали о ее необычайном внимании «к человеку», о понимании того, что человек не только великая ценность, неповторимая и незаменимая, но и святыня. Поражали ее «прямодушие и отзывчивость» (Г. Чулков), «мудрая понятливость» (С. Ауслендер), «особый талант общения с людьми» (А. Тыркова). Она умела с одинаковой доброжелательностью выслушивать остроты английского джентльмена, утонченные символистские рассуждения петербургского эстета и горячую несвязную просьбу деревенской бабы.

Проникновенен рассказ Вячеслава Иванова о ее последних минутах, сохранившийся в передаче Максимилиана Волошина: «Вячеслав лег с ней на постель, поднял ее. Она прижимала его, легла на него и на нем умерла. Когда с него сняли ее тело, то думали, что он лежит без чувств. Но он встал сам, спокойный и радостный. Ее последние слова были: „Возвещаю вам великую радость: Христос родился“. Потом открылись новые подробности.

„Тут я простился с ней, – рассказывал Вячеслав Иванов. – Взял ее волосы. Дал ей в руки свои. Снял с ее пальца кольцо – вот это с виноградными листьями, дионисическое, и надел его на свою руку. Она не могла говорить. Горло было сдавлено, распухло. Сказала только слово: «Благословляю». Смотрела на меня. Но глаза не видели. Верно, был паралич. Ослепла. Сказала: «Это хорошо…» Так я с ней обручился. И потом я надел себе на лоб тот венчик, что ей прислали: принял схиму…“ Похороны состоялись несколько дней спустя в Петербурге. На венке от мужа надпись: „Мы две руки единого креста“».

О возможных причинах смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал будет чуть ниже. Вячеслав Иванов безумно переживал смерть супруги. Крест для него был значимым символом, началом жизни. Лидия Дмитриевна так и оставалась для него живой. Во всех его скитаниях рядом с ним был ее портрет, написанный после смерти Маргаритой Сабашниковой. Еще многие годы она являлась ему в снах и видениях, беседовала с ним, давала ему советы. Так, в одно из таких «посещений» «завещала» ему свою дочь, Веру Шварсалон: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду», – что определило последующую личную судьбу Иванова, женитьбу на падчерице, рождение сына Дмитрия. Вскоре после ее смерти поэт дал зарок: написать сорок два сонета и двенадцать канцон, «по числу лет нашей жизни и лет жизни совместной».

Их знакомство состоялось в 1895 году, когда Зиновьева-Аннибал, «золотоволосая, жадная к жизни, щедрая», с тремя детьми бежала от мужа за границу и там, скитаясь по Европе, встретила «узкоплечего немецкого школяра-мечтателя, втихомолку слагавшего странные стихи, и взяла его, повлекла, поволокла». Эта встреча, по словам самого Иванова, «была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все… обновилось, расцвело, зазеленело». И никогда уже впоследствии не дано было этому «жизненному роману» «замереть в спокойных, дружеских и супружеских отношениях». Вначале поэту казалось, что его чувство – преступная, темная, демоническая страсть, но это была любовь, «которой суждено было… только расти и духовно углубляться». Скоропостижная смерть Лидии Зиновьевой-Аннибал потрясла всех. Помимо того, что она была ярчайшей женщиной своего времени, скреплявшей узами дружбы таких различных людей, как Александр Блок, Максимилиан Волошин, Константин Сомов, Сергей Городецкий, она была и незаурядной писательницей. Вслед за Блоком многие могли повторить: «Того, что она могла дать русской литературе, мы и вообразить не можем». Она сама ощущала себя в преддверии больших свершений. «Я вся в жизни и каких-то

далеких и ярких достижениях. Не могу угомониться и состариться», – писала она незадолго до кончины.

Рождение Лидии Зиновьевой-Аннибал как писательницы состоялось после встречи с Вячеславом Ивановым. «Друг через друга нашли мы – каждый себя. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней», – вспоминал он. К сожалению, талант писательницы в этой женщине видели не все, особенно символисты. Андей Белый, недолюбливавший Зиновьеву-Аннибал, считал ее манерной, вычурно-экстравагантной, убеждал читателя, что автор, поддавшись веяниям моды на эротику, не справился со «сложнейшими загадками и противоречиями существования». Еще более непримирим оказался Валерий Брюсов. В письме к Зинаиде Гиппиус он, уговаривая ее взяться за рецензирование, делился своими впечатлениями: «сохранять хладнокровие» при чтении подобных литературных произведений (имелась в виду пьеса Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел») «не совсем легко», так как «под прозрачными псевдонимами» пересказываются события из жизни «средового» кружка. В возмущении Брюсова сквозили раздражение и, по мнению современной критики, – зависть. Раздражение по поводу неслыханной смелости, с какою участники «башенных» перипетий обнажали свои отношения. Зависть к свободе естественно проживаемого чувства. Зиновьева-Аннибал, действительно, проживала каждую минуту. Вот ее признание в одном из писем: «Живу как всегда одной минутой и до конца ее пью, на минуту вперед не заглядывая».

Одно из произведений Зиновьевой-Аннибал вызвало поток критики. Речь идет о «Тридцати трех уродах» – на первый взгляд, декларации лесбийской любви, преклонении перед другой женщиной, которое заставляет главную героиню, в конце концов, совершить самоубийство. Произведение это не было посвящено женщине, но об этом также чуть позже.

Зинаида Николаевна Гиппиус отозвалась на просьбу редактора «Весов» и… написала разгромную статью на «Тридцать три урода» как бездарное и оттого «невинное» произведение, найдя повод и ядовито похвалить автора: «Даже моралист не почувствует там никаких „гадостей“, не успеет – так ему станет жалко г-жу Зиновьеву-Аннибал. И зачем ей было все это писать! Ей-богу, она неглупая, прекрасная, простая женщина, и даже писать она умеет недурно».

Недовольство Зинаиды Гиппиус было продиктовано иной (ох, иной!), чем у Зиновьевой-Аннибал, трактовкой страсти. Гиппиус была убеждена, что любое ощущение неудовлетворенности исчезает при влюбленности – чувстве, не похожем ни на какое

другое, ни к чему определенному не стремящемся. Гиппиус видела во влюбленности знак «оттуда», обещание чего-то, что может составлять счастье нашего «душе-телесного существа». Пафосные выводы Зиновьевой-Аннибал не могли найти в ней отклик.

Мужчинам же произведение нравилось. Особенно оно нравилось Вячеславу Иванову. По его определению, это было произведение «о трагедии художника жизни, обманутого объектом его искусства, оказавшимся не на высоте замысла творца». «Вера фантастична и прекрасна, – восторгался образом Иванов, – здесь подлинный язык страсти, и он не может не потрясти всякого». Дело в том, что в «Тридцати трех уродах» тесно переплелись темы любви, творчества, красоты, вины, власти, жертвенности и искупления. Героиня романа, актриса Вера, обращающая в свою «веру» – поклонение прекрасному – возлюбленную, решает отпустить ее в «мир». И, дабы увековечить ее красоту, позволяет запечатлеть ее облик на полотнах тридцати трем художникам. Результат ужасен! Дробление красоты ее избранницы на тридцать три изображения, ни в чем не тождественных оригиналу, оборачивается для Веры крахом надежды на возможность сохранения Красоты и Любви в этой жизни. Провиденциальной становится ее фраза: « *Все,* и *высшее,* не прочно». Вера творит свою возлюбленную, как Пигмалион творил Галатею. Но произведение, отданное толпе, зрителю, уже не принадлежит создателю и прекращает подлинное существование. Вера погибает.

Правда жизни заключалась в том, что произведение было посвящено Иванову и было обращено лично к нему, являясь как бы предупреждением о возможном исходе дионисийских экспериментов. В семейном союзе Иванова и Зиновьевой-Аннибал некоторое время существовали и «третьи лица»: поэт Сергей Городецкий, а также жена поэта Волошина Маргарита Сабашникова. Вера, героиня Зиновьевой-Аннибал, отдает свою любимую другим, но не выдерживает испытания и кончает с собой. Похожая история произошла и с самой Зиновьевой-Аннибал. То, что бывает написано, порой осуществляется по странным необъяснимым законам. Она «сгорела», буквально в одночасье, от скоротечной скарлатины.

После скоропостижной смерти жены в 1907 году поэт глубоко ушел в теософию и мистику. В 1910 году он женился на своей падчерице Вере Шварсалон, дочери Зиновьевой-Аннибал; от этого брака родился сын Дмитрий (1912 – 2003). В 1921 году Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 году эмигрировал в Италию.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, появились связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета. В 1926 году принял католичество. Итогом литературного творчества Иванова стал сборник стихов «Свет вечерний», опубликованный посмертно в Оксфорде в 1962 году.

Михаил Кузмин 1872 – 1936 «Кому есть выбор – выбирает»

Слез не заметит на моем лице
Читатель плакса,
Судьбой не точка ставится в конце,
А только клякса.

Один из самых загадочных поэтов Серебряного века Михаил Алексеевич Кузмин родился в Ярославле 6 (18) октября 1872 года. При жизни Кузмин часто мистифицировал свое прошлое, например прибавляя к дате своего рождения то два, то три года. Отец его, Алексей Алексеевич, был морским офицером. Мать, Надежда Дмитриевна, урожденная Фёдорова, была дочерью небогатого помещика Ярославской губернии. Бабка Кузмина по материнской линии была внучкой известного в XVIII веке французского актера Жана Офреня, что в какой-то мере повлияло на возникновение интереса Кузмина к французской культуре. Вообще, западноевропейская культура с раннего детства стала его второй духовной родиной: Шекспир, Мольер, Сервантес, Вальтер Скотт, Гофман, Россини, Вебер, Шуберт формировали личность будущего поэта и музыканта, притом что родители Кузмина были старообрядцами, и сам он с детства воспитывался в старозаветных традициях бытовой религиозности.

Начинал учиться Кузмин в Саратове, куда был увезен родителями в возрасте полутора лет, в той же гимназии, в которой в свое время учился Чернышевский. Однако уже осенью 1884 года семья поэта переехала в Петербург.

Еще в гимназические годы Кузмин близко сошелся с Георгием Чичериным, впоследствии известным государственным деятелем Советской России, который стал его самым близким другом вплоть до начала 1900-х годов и оказал на Кузмина огромное влияние. Именно Чичерин ввел в круг интересов Кузмина итальянскую культуру, способствовал тому, чтобы Кузмин выучил итальянский язык, позже привил Кузмину серьезный интерес к культуре немецкой.

Летом 1891 года, после окончания гимназии, Кузмин поступил в консерваторию. Учителем его в немногие консерваторские годы (вместо предполагавшихся семи лет он провел там лишь три, а потом еще два года брал уроки в частной музыкальной школе) был Николай Римский-Корсаков. В это время музыкальные увлечения Кузмина выливались в сочинение многочисленных произведений, преимущественно вокальных. Он написал много романсов, а также опер на сюжеты из классической древности.

Весной – летом 1895 года Кузмин совершил поездку в Египет, побывав в Константинополе, Афинах, Смирне, Александрии, Каире, Мемфисе. Это путешествие дало темы для многих его произведений последующего времени. Эллинистическая Александрия надолго стала источником для его писаний, как в музыке, так и в литературе.

К самому концу XIX и началу XX века относится наиболее темный период в жизни Кузмина, который породил едва ли не больше всего легенд о нем, как, например, о том, что он месяцами жил в олонецких и поволжских старообрядческих скитах. Этому послужило то, что в то время Кузмин даже внешне старался походить на старообрядца, нося поддевку, картуз, сапоги и отпустив бороду.

В круг той художественной интеллигенции, которая играла столь большую роль в духовной жизни русского общества на рубеже веков, Кузмин впервые вошел как музыкант. Этому послужили дружеские отношения с членами знаменитого «Мира искусства» (прежде всего с Вальтером Нувелем, Константином Сомовым и Леоном Бакстом), участие в «Вечерах современной музыки», проводившихся в 1901 году. «Вечера» позволили Кузмину представить его музыку не тесному кружку из нескольких человек, а значительно более широкой публике.

Дебют же Кузмина как поэта состоялся в декабре 1904 года, когда вышел в свет альманах «Зеленый сборник стихов и прозы», где был напечатан цикл его стихотворений «XIII сонетов», а также оперное либретто. Наиболее точным словом, определявшим ту атмосферу, в которой поэт жил в это время, является «эстетизм», с его культом красоты и преданностью хорошему вкусу, почитанием Обри Бердсли, Оскара Уайльда и младших французских декадентов. Кузмин же в эти годы (до августа 1906-го) по-прежнему был одет в русское платье, служившее как бы знаком отделенности от артистического круга, и проводил большую часть своего времени в уединении. При этом «Вечера современной музыки» оставались фактически единственным его контактом с артистическим миром. Но внешняя оторванность от

художественного круга заменялась глубокой внутренней связанностью с ним: в 1904 – 1905 годах Кузмин работал над теми произведениями, которые в наибольшей степени определили его литературную репутацию в начале творческого пути, – циклом «Александрийские песни» и повестью «Крылья».

«Крылья» представляли собой своего рода опыт гомосексуального воспитания. Книга произвела эффект литературного скандала и надолго определила Кузмину в широких кругах репутацию совершенно одиозную и однозначную, вызвав травлю в печати. Он же принципиально не только не старался скрыть характер своей интимной жизни, но и делал это с небывалой для того времени открытостью.

Осенью 1906 года Кузмин также начал сотрудничать с театром Веры Комиссаржевской, написав музыку к пьесе Александра Блока «Балаганчик», поставленной Всеволодом Мейерхольдом. Именно с «Балаганчика» началась долгая театральная карьера Кузмина, так же как и его долгая дружба с Блоком. В самом начале 1909 года Кузмин знакомится с молодыми поэтами – Николаем Гумилёвым, Алексеем Толстым, Осипом Мандельштамом.

Весной 1913 года Кузмин встретился с молодым художником Юрием Юркуном, который стал его другом и спутником на долгие годы, вплоть до смерти поэта.

Имя Кузмина тесно сплетается с кафе «Бродячая собака», частым посетителем которого он был, и к первой годовщине «Собаки» даже написал «Гимн», а также четверостишие «Кабаре», печатавшееся на программах «Собаки». Время от времени Кузмин сам выступал с эстрады.

Из книги Анатолия Шайкевича «Петербургская богема»:

«На эстраду маленькими, быстрыми шажками взбирается удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают помпейские фрески. Черные, словно лаком покрытые, жидкие волосы зачесаны на боках вперед, к вискам, а узкая, будто тушью нарисованная, бородка вызывающе подчеркивает неестественно румяные щеки. Крупные, выпуклые, желающие быть наивными, но многое, многое перевидавшие глаза осиянны длинными, пушистыми, словно женскими, ресницами. Он улыбается, раскланивается и, словно восковой, Коппелиусом оживленный автомат, садится за рояль. Какие у него длинные, бледные, острые пальцы…

Приторно-сладкая, порочная и дыхание спирающая истома

нисходит на слушателей. В шутке слышится тоска, в смехе – слезы.

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь,
Ранней весною срывают фиалки.
Летом фиалок уж ты не найдешь.
Теперь твои губы – что сок земляники,
Щеки – что розы Глуар де Дижон.
Теперь твои кудри – что шелк золотистый,
Твои поцелуи – что липовый мед.
Дитя, торопись, торопись,
Помни, что летом фиалок уж нет.

Банальные модуляции сливаются с тремолирующим, бархатным голоском, и неизвестно как и почему, но бесхитростно ребячливые слова получают какое-то им одним присущее таинственное значение.

Конечно, это не дитя, которое тянется за розой, а кокетливая, низко декольтированная пастушка, взобравшаяся на забор и обнажившая свою стройную ножку в белом чулке.

Кузмин поет дальше:

Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедем,
Если завтра будет дождик, то останемся мы дома…»

После закрытия «Бродячей собаки» Кузмин стал завсегдатаем «Привала комедиантов», где какое-то время регулярно выступал с исполнением своих песенок. Именно «Привал» отметил 29 октября 1916 года юбилей Кузмина – десятилетие его литературной деятельности.

В квартиру на 5-м этаже дома № 17 – 19 по Спасской улице Кузмин и Юркун переехали вместе в тревожном 1918 году. Знакомые Кузмина отмечали, что в послереволюционные годы поэт быстро постарел. Трудно было представить, что перед тобой – знаменитый петербургский денди. Кузмин не покинул Россию, оставшись в холодном и голодном Петрограде. Эта квартира стала его убежищем на долгие годы, когда «уж вспухнувшие пальцы треснули, и развалились башмаки». А потом новые власти стали «уплотнять», отбирая у Кузмина и Юркуна комнату за комнатой. К 1930-м годам квартира превратилась в захламленную, шумную коммуналку. Заселили даже бывший чулан с единственным окном, выходящим на черную лестницу.

Кузмину и Юркуну оставили две комнаты окнами во двор. В маленькой комнатке жила мать Юркуна Вероника Карловна, которая вела домашнее хозяйство. Кузмин и Юркун обитали в большой комнате. Она была проходной, и время от времени соседи проходили мимо хозяев и гостей на кухню. Произведения

Кузмина все реже и реже публиковались, и поэт вынужден был зарабатывать переводами для театра. Могло сложиться впечатление, что об одном из ярчайших поэтов Серебряного века просто-напросто забыли. Но о Кузмине помнили не только старые почитатели его творчества – к нему тянулась молодежь. Здесь, в проходной комнате, за круглым столом собирались молодые поэты, переводчики, художники, искусствоведы… Сложно перечислить всех тех, кто здесь бывал: Бенедикт Лившиц, Даниил Хармс, Александр Введенский, Иван Лихачёв, Константин Вагинов, Лев Раков, Рюрик Ивнев, Анна и Сергей Радловы и многие другие.

Каждый день от 5 до 7 часов вечера гости поднимались на 5-й этаж и трижды нажимали кнопку звонка коммунальной квартиры. Хозяин квартиры – маленький старичок с огромными глазами – открывал дверь. Кузмин приглашал гостей в комнату. Там на круглом столе уже стоял большой самовар. Михаил Алексеевич сам разливал чай. Угощение гости старались приносить с собой. За этим столом слушали новые стихи, обсуждали последние события в жизни искусства, спорили. Иногда Кузмин подходил к белому фортепиано и играл, тихо напевая свои знаменитые «песеньки». Управдом Яковлев с большим уважением относился к Кузмину и не препятствовал проведению частых «собраний». Он утверждал, что когда-нибудь на доме повесят мемориальную доску с надписью: «Здесь жили Кузмин и Юркун, и управдом их не притеснял».

В феврале 1936 года Кузмина положили в Куйбышевскую (Мариинскую) больницу в Ленинграде, где 1 марта он скончался от воспаления легких. Кузмина похоронили на Литераторских мостках на Волковом кладбище. Надпись на могиле предельно проста:

…

Михаил Кузмин
1875 – 1936
ПОЭТ

В одном из поздних интервью Анна Ахматова обмолвилась несколько жестоко, но в известном смысле справедливо: «Смерть его в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, который был расстрелян в 1938 году». Кузмин умер в переполненной палате городской больницы, полежав перед этим в коридоре и простудившись.

Свидетель похорон рассказывал: «Литературных людей на похоронах было меньше, чем „полагается“, но, может быть, больше, чем хотелось бы видеть… Вспомните, что за гробом Уайльда шли семь человек, и то не все дошли до конца».

После смерти Кузмина и ареста Юркуна большая часть архива, не проданного ранее в Гослитмузей, пропала, и до сих пор никто не знает, где она может быть. Казалось, что и само имя Кузмина сразу ушло в далекое литературное прошлое, что ему уже никогда не будет суждено вернуться. Он даже не оставил русской поэзии, как то издавна велось, своего предсмертного «Памятника», поэтому пусть за него скажет другой поэт – Александр Блок: «Самое чудесное здесь то, что многое пройдет, что нам кажется незыблемым, а ритмы не пройдут, ибо они текучи, они, как само время, неизменны в своей текучести. Вот почему вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которому они послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и будем стараться уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, заграждающего путь музыкальной волне».

Игорь Северянин 1887 – 1941 «Ананасы в шампанском»

Игорь Северянин (настоящее имя Игорь Васильевич Лотарев) родился 4 (16) мая 1887 года в Петербурге в семье военного инженера Василия Петровича Лотарева, был дальним родственником Карамзина и Фета по матери, а также троюродным братом Александры Коллонтай. Первые 9 лет своей жизни Игорь провел в Петербурге. После разрыва родителей жил у тетки и дяди в их имении недалеко от Череповца. Закончив четыре класса реального училища, в 1904 году он уехал с отцом на Дальний Восток.

Сам Игорь Северянин писал свой псевдоним через дефис: Игорь-Северянин – как второе имя, а не фамилию. Первое имя было ему дано по святцам, в честь святого древнерусского князя Игоря Олеговича; приложение Северянин делало псевдоним близким к «царственным» именам и означало место особенной любви (как приложение «Сибиряк» в псевдониме Дмитрия Мамина-Сибиряка). Но традиция писать «Северянин» как фамилию закрепилась так же, как традиция толковать поэта односторонне по его «экстазным» стихам.

Одно из первых ярких впечатлений Игоря Северянина – влюбленность в Женечку Гуцан (Злату), которая и вдохновляла будущего поэта:

Идет весна в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой,
И ландышей невидимые струйки
Бубенчиками в воздухе звучат…
Она, смеясь, мои щекочет нервы,
Кокетничает мило и остро…
Я к ней спешу и золотою Златой
Вдруг делается юная весна…

В 1905 году Игорь Северянин был самоуверенным восемнадцатилетним юнцом без образования, без специальности, без гроша в кармане. В конце жизни, когда пришла пора подводить итоги, Игорь Васильевич, оглядываясь назад, с грустью признался самому себе, что в ранней молодости ему очень мешали правильно воспринимать людей и «глупая самовлюбленность», и «какое-то скольженье по окружающему». Это относилось и к друзьям, которых он недооценивал, и к

женщинам: «в последнем случае последствия бывали непоправимыми и коверкали жизнь, болезненно и отрицательно отражаясь на творчестве». Поскольку эта запись сделана в дневнике, когда он уже навсегда расстался с двумя «недооцененными» им женщинами – своей первой любовью Евгенией и единственной законной женой эстонкой Фелиссой Круут, можно предположить, что приведенная выше сентенция относится именно к ним.

С Евгенией Менеке, тогда еще Женей, Женечкой Гуцан, Игорь познакомился зимой 1905 года в Гатчине, где жил вместе с матерью и старой няней. Женя же снимала угол в Петербурге, зарабатывала шитьем, а в Гатчину приезжала по воскресеньям – навестить и обиходить отца, опустившегося после смерти жены, Жениной матери. Была она на редкость хороша собой: стройная, с роскошными золотыми вьющимися волосами. Игорь, влюбившись, придумал своей юной подруге новое имя Злата и задарил стихами: больше задаривать было нечем. Однако у Златы были не только золотые волосы, но и золотые руки – она умела пустяками обиходить, «изузорить» их ветхий «уют».

Златошвейные фантазии Жени восхищали поэта, видимо, еще и потому, что он и сам любил и умел мастерить руками. Например, для того чтобы Злата смогла вдоволь налюбоваться «малахитовой водой» тогда еще чистой-пречистой Ижорки, Игорь, с помощью плотника, сколотил замечательную лодку.

Неожиданно выяснилось, что Евгения ждала ребенка. Но о женитьбе не могло быть и речи, а с ребенком на руках какое житье? И она сделала то единственное, что могла сделать молодая женщина в ее положении: стала содержанкой богатого «старика». Впрочем, стариком ее избранник, видимо, не был, а главное, он любил детей: к родившейся вскоре девочке, названной Тамарой, относился так хорошо, что благодарная Злата родила и второго ребенка – тоже девочку. Так ли был богат покровитель Златы, как это изображено в стихотворении Северянина:

У тебя теперь дача, за обедом омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла, —

мы не знаем. Но все остальное соответствует истине.

Богатый покровитель внезапно умер, и молодая мать осталась без гроша и с двумя маленькими детьми. Игорь Северянин к тому времени успел стать известным поэтом, и какие-никакие деньги у него имелись, но он был уже связан с

другой женщиной – Марией Васильевной Домбровской, и связан прочно, пусть и не узами законного брака. И Злата распорядилась своей судьбой сама, учтя сделанные ошибки: вышла замуж, но не за богатого, а за надежного человека, скромного служащего, немца, хотя вполне могла, при ее-то внешних данных, сделать и более блестящий выбор. Но она думала не о себе, а снова о детях. Затем началась Первая мировая война и немецкие погромы. Супруги Менеке эмигрировали в Берлин. Девочек оставили у родственников. Забрать их фрау Менеке смогла лишь в 1920 году, после заключения мирного договора с Германией. В Берлине Злата открыла пошивочную мастерскую, была завалена работой, семья ни в чем не нуждалась. Девочку Тамару, у которой обнаружились способности к музыке и танцам, смогли отдать в хорошую балетную школу (дочь Северянина стала профессиональной танцовщицей). Об отце Тамары Евгения Менеке, занятая по горло, вспоминала с грустной нежностью, думая, что он погиб, как и многие его ровесники, на войне, пока не прочитала в одной из берлинских русских газет стихи, подписанные его именем. Она написала в редакцию с просьбой переслать, если это возможно, если есть адрес, ее послание – а это была настоящая исповедь! – автору. И самое удивительное: письмо нашло адресата! Потрясенный Северянин написал чуть ли не в один присест поэму о первой любви – «Падучая стремнина»:

Спустя семь лет, в Эстонии, в июле,
Пришло письмо от Златы из Берлина…
О, Женечка! Твое письмо – поэма.
Я положил его, почти дословно,
На музыку, на музыку стихов…

Началась переписка, чему не помешал и тот факт, что поэт только что женился. Но жена – Фелисса Михайловна Круут, любившая и ревновавшая мужа без памяти, помешать не могла. Супруги собирались ехать в Германию, а там без помощи Златы было не обойтись. Да и зачем ревновать ей, такой юной, к «пожилой» замужней женщине?

Евгения Менеке встретила чету Лотаревых на вокзале и, как и обещала, устроила их на недорогую, но удобную квартирку. А на другой день впервые в жизни Северянин увидел свою шестнадцатилетнюю дочь, кстати похожую на него, а не на свою красавицу мать. Такого поворота Фелисса Михайловна не ожидала и поставила вопрос ребром: или они, или я.

Игорь Васильевич пообещал жене, что больше не увидится со

своей первой любовью и, хотя потом дважды приезжал в Берлин, вопреки обыкновению, слово сдержал. Но со Златой он все-таки встретился. Правда, уже после того, как расстался с Фелиссой. И не в Берлине, а в Таллине, через 17 лет – в 1939 году. Этой встречи поэт совсем не хотел, может быть, боялся изменений, возраста, памяти. Но его опасения не сбылись, или, вернее, сбылись слишком явно: и в 52 года Евгения была красива и элегантна. Судьба каким-то странным образом хранила ее. Во времена нацистов Злату арестовали за то, что она укрывала в своей мастерской евреев, но потом выпустили. Умерла Евгения Гуцан-Менеке в 1952 году, в Лиссабоне, легко, на руках обожавших ее дочерей.

Моя жена мудрей всех философий —
Завидная ей участь суждена,
И облегчить мне муки на Голгофе
Придет в тоске одна моя жена!

После смерти Сергея Есенина мать поэта Татьяна Фёдоровна сказала: «Не было той, которая уберегла бы». Действительно, ни одной его возлюбленной не удалось вытащить поэта из пьянства. Шестнадцатилетний брак Игоря Северянина с Фелиссой Круут – видимо, противоположный пример: женщина уберегла человека и поэта.

С Фелиссой, тогда еще гимназисткой, Северянин познакомился в Тойле. Ее одноклассник вспоминал:

«…На вечере в помещении пожарной команды моя соученица по прогимназии Фелисса Круут, дочь тойлаского плотника, выступила с чтением стихотворения эстонского писателя Фридсберта Тугласа „Море“, а затем она исполнила лирические отрывки из произведений Н. В. Гоголя на русском языке. Очарованный талантом юной чтицы, поэт Северянин, присутствовавший на вечере, подошел ее поздравить, а через некоторое время жители Тойлы стали часто встречать свою землячку в соседнем парке Ору в обществе известного стихотворца».

По-видимому, Игорь Васильевич увидел в этой случайной встрече небесное знамение. Мать, Наталья Степановна, единственная женщина, которая скрашивала его холостое житье (после того как подруга Игоря Васильевича Мария Васильевна, еще недавно влюбленная и нежная, готовая на любые жертвы ради их взаимного счастья, не выдержав испытания захолустьем, ушла от него), была совсем плоха, местный доктор сказал:

безнадежна. И вот судьба, словно бы сжалившись, послала ему эту строгую девочку, чтобы она заменила тридцатичетырехлетнему поэту горькую утрату! Похоронив мать, Северянин скоропалительно – и сорока дней не минуло со дня похорон, – спасаясь от ужаса одиночества на чужбине, женился.

В очень высокой, слишком прямой и для ее девятнадцати чересчур уж серьезной ученой дочке деревенского плотника не было ни обаяния, ни ликующей свежести Женечки-Златы. В ней вообще не было ничего от того, что пленяло Северянина в женщинах, – игры, кокетства, изящества. Зато имелось, и с лихвой, то, чего недоставало как предыдущим, так и последующим дамам его выбора: основательный, практичный ум, твердость характера, а главное – врожденный дар верности. Такого надежного товарища, терпеливого и выносливого, в его изменчивой и трудной судьбе больше уже не будет.

Известность Северянина как поэта началась в 1909 году, когда некий журналист Иван Наживин привез одну из брошюр («Интуитивные краски») в Ясную Поляну и прочитал стихи Северянина Льву Толстому. Графа и убежденного реалиста резко возмутило одно из «явно иронических» стихотворений этой брошюры – «Хабанера II», начинавшееся:

Вонзите штопор в упругость пробки —
И взоры женщин не будут робки!.. —

после чего, говоря словами самого поэта, всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала его сразу известным на всю страну… «С легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому было не лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них – в вечерах, а может быть и в благотворителях, – участие», – вспоминал позднее поэт.

Северянин вошел в моду. В 1911 году Валерий Брюсов, поэтический мэтр, написал ему дружеское письмо, одобрив брошюру «Электрические стихи». Другой мэтр символизма, Фёдор Сологуб, принял активное участие в составлении первого большого сборника Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913), сопроводив его восторженным предисловием и посвятив Игорю Северянину в 1912 году восьмистишие, начинавшееся строкой «Восходит новая звезда». Затем Фёдор Сологуб пригласил поэта в турне по России: они начали совместные выступления в Минске и завершили их в Кутаиси.

Начавшаяся Первая мировая война, пусть и не сразу, сменила общественные интересы, сместила акценты, и ярко выраженный гедонистический восторг поэзии Северянина оказался явно не к месту. Сначала поэт даже приветствовал войну, собирался вести поклонников «на Берлин», но быстро понял ужас происходящего и опять углубился в личные переживания, заполняя дальше дневник своей души.

27 февраля 1918 года на вечере в Политехническом музее в Москве Игорь Северянин был избран «королем поэтов». Вторым был признан Владимир Маяковский, третьим Василий Каменский (один из первых русских авиаторов). Свидетельства современников крайне противоречивы, избрание «короля» сопровождалось шутливым увенчанием мантией и венком, но известно, что сам Северянин отнесся к этому очень серьезно.

В 1922 году у Северянина родился сын. Поэт назвал его Вакхом, сумев каким-то образом убедить священника, что такое имя в святцах есть. Но ни рождение сына, ни любовь прекрасной женщины не могли заглушить тягостных мыслей о его положении нахлебника в семье тестя. Из писем Августе Барановой: «сижу… часто без хлеба, на одном картофеле – наступают холода, дров нет, нет и кредитов…», «побочными способами зарабатывать не могу, ибо болен теперь окончательно» (1925). Поездки за границу для литературного заработка «…при громадных затратах нервов и энергии не оправдывают себя» (1937).

Литературная среда Эстонии была поэту чужда, хотя ему назначили государственную субсидию, на которую, однако, едва ли можно было свести концы с концами. В начале 1940-х годов Игорь Северянин перестал писать, не видя в этом смысла. По его выражению, он «делает им аборт». Нужда, тяжелые болезни, взаимное раздражение в семье, возможно, послужили причиной тому, что в 1931 году в жизнь Северянина ворвалась новая женщина. Вера Коренди (Коренева, урожденная Запольская) с 15 лет была романтически увлечена поэзией Игоря Северянина и внушила себе, что ее назначение – быть рядом с поэтом, создавать ему условия для творчества. В 1931 году она написала поэту письмо, поразившее его безукоризненной орфографией и стилем. В 1935 году после очередной размолвки с Фелиссой он переехал к Вере в Таллин.

В конце 1941 года, когда немцы уже оккупировали Эстонию, Игорь Северянин был очень болен. Посланная до того телеграмма в Москву Михаилу Калинину с просьбой помочь эвакуироваться в советский тыл осталась без ответа, и 20 декабря 1941 года пятидесяти трех лет от роду Игорь Северянин скончался от сердечной недостаточности.

Имя Игоря Северянина было долгое время мало кому известно. В советское время его ассоциировали лишь с «декадентщиной», «северянинщиной», а стихи были запрещены, как идеологически вредные. Первое неполное собрание сочинений появилось в России лишь в 1996 году. Тонкая, едва уловимая ирония часто выступает как один из «планов» каждого стихотворения поэта. Когда читатель не способен почувствовать этот план и воспринимает все буквально, нередко возникают казусы, как не раз происходило с блистательным стихотворением «Увертюра» (чаще известным как «Ананасы в шампанском»). А в реальности сквозь строки слышится мощь и необыкновенная сила этого человека:

В группе девушек нервных,
В остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс.
Ананасы в шампанском!
Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагасаки!
Из Нью-Йорка на Марс!

Константин Бальмонт 1867 – 1942 «Я буду ждать тебя мучительно»

«Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Вернее, точно из пространств попадает Бальмонт на землю – в салон, на улицу. И порыв переламывается в нем, и он, поняв, что не туда попал… надевает пенсне и надменно (вернее, испуганно) озирается по сторонам, поднимает сухие губы, обрамленные красной, как огонь, бородкой. И оттого-то весь облик его двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг – все это чередуется в нем, и какая тонкая прихотливая гамма проходит на его истощенном лице, бледном, с широко раздувающимися ноздрями! Мстительный гений грозы, демон сжигающей страсти… сам рыжебородый Тор, но Тор, бредущий тоскливо по Арбату в октябрьский день, когда струи дождя дни и ночи натянуты над городом. Он останавливается… и вдруг надменно топнет ногой по мокрому асфальту: „Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!“» – таким запечатлел облик поэта Андрей Белый.

Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 (15) июня 1867 года в дворянской семье в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии. По семейным преданиям, предками со стороны отца были шотландские или скандинавские моряки, переселившиеся в Россию. Мать, Вера Николаевна Лебедева, происходила из древнего татарского рода, шедшего от князя Белый Лебедь Золотой Орды (возможно, это еще один из семейных мифов, который, впрочем, подтверждала вторая жена поэта – Екатерина Алексеевна Бальмонт в своих воспоминаниях). Мать оказала огромное влияние на формирование личности будущего поэта, унаследовавшего от нее не только «необузданность и страстность», но и весь «душевный строй».

Самые яркие впечатления детских лет – природа среднерусской полосы. «В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют», – вспоминал поэт в автобиографии 1907 года. Его литературные вкусы формировались под влиянием «народных песен, Никитина, Кольцова, Некрасова и Пушкина». В юношеские годы появилась склонность к иностранным языкам, которыми он овладевал быстро и легко. Это помогло поэту познакомиться с западноевропейской литературой в подлинниках и переводить Перси Шелли, Эдгара По, Педро Кальдерона, Кристофера Марло,

Оскара Уайльда.

Позже Бальмонт рассказывал в автобиографии о том, что очень рано начал влюбляться: «Первая страстная мысль о женщине – в возрасте пяти лет, первая настоящая влюбленность – девяти лет, первая страсть – четырнадцати лет», – писал он. «Блуждая по несчетным городам, одним я услажден всегда – любовью», – позже признавался поэт в одном из своих стихотворений.

Валерий Брюсов, анализируя его творчество, писал: «Поэзия Бальмонта славит и славословит все обряды любви, всю ее радугу. Бальмонт сам говорит, что, идя по путям любви, он может достигнуть „слишком многого – всего!“».

В 1889 году Бальмонт женился на Ларисе Гарелиной, дочери шуйского фабриканта. В марте 1890 года произошел инцидент, наложивший отпечаток на всю последующую жизнь Бальмонта: он, попытавшись покончить с собой, выбросился из окна третьего этажа, получил серьезные переломы и провел год в постели. Считалось, что толкнуло его на такой поступок отчаяние от семейного и финансового положения: женитьба рассорила Бальмонта с родителями и лишила финансовой поддержки, непосредственным же толчком явилась прочитанная незадолго до этого «Крейцерова соната». Год, проведенный в постели, как вспоминал сам поэт, оказался творчески весьма плодотворным и повлек «небывалый расцвет умственного возбуждения и жизнерадостности». Именно в этот год он осознал себя поэтом, увидел собственное предназначение. В 1923 году в биографическом рассказе «Воздушный путь» он писал:

«В долгий год, когда я, лежа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьев за окном, и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом…»

Вскоре после выздоровления, которое было лишь частичным – хромота осталась на всю жизнь, – Бальмонт расстался с Ларисой Гарелиной. Первый ребенок, родившийся в этом браке, умер, второй – сын Николай – впоследствии страдал нервным расстройством. Позже исследователи предостерегали от излишней «демонизации» образа первой жены Бальмонта: разойдясь с последним, Лариса Михайловна вышла замуж за журналиста и историка литературы Николая Энгельгардта и мирно прожила с ним много лет. Ее дочь от этого брака, Анна

Николаевна Энгельгардт, стала второй женой Николая Гумилёва.

Некоторое время после болезни Бальмонт жил в нужде. Он, по собственным воспоминаниям, месяцами «не знал, что такое быть сытым, и подходил к булочным, чтобы через стекло полюбоваться на калачи и хлебы». «Начало литературной деятельности было сопряжено со множеством мучений и неудач. В течение четырех или пяти лет ни один журнал не хотел меня печатать. Первый сборник моих стихов… не имел, конечно, никакого успеха. Близкие люди своим отрицательным отношением значительно усилили тяжесть первых неудач», – писал он в автобиографическом письме 1903 года.

В 1896 году Бальмонт женился на Екатерине Андреевой. Екатерина Алексеевна, родственница известных московских издателей Сабашниковых, происходила из богатой купеческой семьи (Андреевым принадлежали лавки колониальных товаров) и отличалась редкой образованностью. Современники отмечали и внешнюю привлекательность этой высокой и стройной молодой женщины «с прекрасными черными глазами». Долгое время она была безответно влюблена в Александра Урусова, известного адвоката. Бальмонт, как вспоминала Андреева, быстро увлекся ею, но долго не встречал взаимности. Когда такая возникла, выяснилось, что поэт женат: тогда родители запретили дочери встречаться с возлюбленным. Впрочем, Екатерина Алексеевна, просвещенная в «новейшем духе», на обряды смотрела как на формальность и вскоре переселилась к поэту. Бракоразводный процесс, дозволяя вступить во второй брак Ларисе Гарелиной, мужу запрещал жениться навсегда, но, отыскав старый документ, где жених значился неженатым, влюбленные обвенчались 27 сентября 1896 года, а на следующий день выехали за границу, во Францию.

В конце 1890-х годов Бальмонт не оставался подолгу на одном месте; основными пунктами его маршрута были Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Берлин, Париж, Испания, Биарриц и Оксфорд. В 1899 году Бальмонт писал поэтессе Людмиле Вилькиной:

«У меня много новостей. И все хорошие. Мне „везет“. Мне пишется. Мне жить, жить, вечно жить хочется. Если бы Вы знали, сколько я написал стихов новых! Больше ста. Это было сумасшествие, сказка, новое. Издаю новую книгу, совсем не похожую на прежние. Она удивит многих. Я изменил свое понимание мира. Как ни смешно прозвучит моя фраза, я скажу: я понял мир. На многие годы, быть может, навсегда».

В начале 1900-х годов в Париже Бальмонт познакомился с Еленой Константиновной Цветковской, дочерью генерала, тогда –

студенткой математического факультета Сорбонны и страстной поклонницей его поэзии. Последняя, «не сильная характером… всем существом вовлеклась в водоворот безумств поэта», каждое слово которого «звучало для нее как глас Божий». Бальмонт, судя по некоторым его письмам, в частности – Брюсову, не был влюблен в Цветковскую, но вскоре начал испытывать в ней необходимость как в действительно верном, преданном друге. Постепенно «сферы влияния» разделились: Бальмонт то жил с семьей, то уезжал с Еленой – например, в 1905 году они отправились на три месяца в Мексику. Семейная жизнь поэта окончательно запуталась после того, как в декабре 1907 года у Елены родилась дочь, которую назвали Миррой – в память о Мирре Лохвицкой, поэтессе, с которой его связывали сложные и глубокие чувства. Появление ребенка окончательно привязало Бальмонта к Елене Константиновне, но при этом и от Екатерины Алексеевны он уходить не хотел. Душевные терзания привели к срыву: в 1909 году Бальмонт совершил новую попытку самоубийства, снова выбросился из окна и снова уцелел. Вплоть до 1917 года он жил в Санкт-Петербурге с Цветковской и Миррой, приезжая время от времени в Москву к Андреевой и дочери Нине.

В отличие от Екатерины Алексеевны, Елена Константиновна была «житейски беспомощна и никак не могла организовать быт». Она считала своим долгом всюду следовать за Бальмонтом: очевидцы вспоминали, как она, «бросив дома ребенка, уходила за мужем куда-нибудь в кабак и не могла его оттуда вывести в течение суток». «При такой жизни немудрено, что к сорока годам она выглядела уже старухой», – отмечала Тэффи.

В 1901 году произошло событие, оказавшее существенное влияние на жизнь и творчество Бальмонта и сделавшее его «подлинным героем в Петербурге». В марте он принял участие в массовой студенческой демонстрации на площади у Казанского собора, основным требованием которой была отмена указа об отправлении на солдатскую службу неблагонадежных студентов. Демонстрация была разогнана полицией и казаками, среди ее участников были жертвы. 14 марта Бальмонт выступил на литературном вечере в зале Городской думы и прочитал стихотворение «Маленький султан», в завуалированной форме критиковавшее режим террора в России и его организатора, Николая II:

То было в Турции, где совесть – вещь пустая,
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан.

Стихотворение пошло по рукам, его собирался напечатать в

газете «Искра» Владимир Ленин. По постановлению «особого совещания» Бальмонт был выслан из Санкт-Петербурга, на три года лишившись права проживания в столичных и университетских городах.

Бальмонту сопутствовал успех. Самые яркие воспоминания об его славе, пожалуй, относятся к периоду его жизни в Москве и Петербурге. О блестящих московских днях вспоминал Борис Зайцев:

«В Москве только что основался „Литературный кружок“ – клуб писателей, поэтов, журналистов… Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de l'époque), бородка клинышком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь („Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…“). Тогда Бальмонт читал об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову: попробуй противоречить мне. В зале было два слоя: молодые и старые („обыватели“). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. Литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся».

Бальмонту, по словам Зайцева, нравилась шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток»: «разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру»).

Но бывал он и совсем другой. Тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто – никакого театра.

Борис Зайцев вспоминал, как в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки пришел Бальмонт к ним с женой в гости на арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку – в боковом кармане у него всегда были запасные стихи. Окинул всех задумчивым взглядом, в нем не было никакого

вызова, сказал негромко: «Я прочту вам нечто из нового моего». На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):

Я в этот мир пришел,
Чтоб видеть Солнце,
А если Свет погас,
Я буду петь, я буду петь
О Солнце
В предсмертный час.

Одну из своих встреч с поэтом в Петербурге, в «Бродячей собаке», писательница Тэффи описывает так:

«Следующая встреча была уже во время войны в подвале „Бродячей собаки“. Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались! „Приехал! Приехал! – ликовала Анна Ахматова. – Я видела его, я ему читала свои стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтесс – Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью – меня, Анну Ахматову…“

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была дважды обвернута *черным,* каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц – „жен мироносиц“.

„Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь“, – повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что „Бродячая собака“ находится в подвале, и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно: „Не стоит того. Здесь недостаточно высоко“.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале».

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал смех, добродушный,

детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время Первой мировой войны, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему все не заговорили по-польски.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

«Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?» Студенты были очень расстроены: «Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски». Когда поэта узнавали ближе, ему прощали все.

Писательница Тэффи вспоминала о том, что в эмиграции Бальмонты поселились в маленькой меблированной квартире. «Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла – оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно. „Ужасная квартира, – говорили они. – Нет стекла, и дует“».

В «ужасной квартире» с Бальмонтами жила их молоденькая дочка Мирра, существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она, голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора. Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил: «Вы, очевидно, ее мать?» «ДА…» Еще внимательнее посмотрел на Бальмонта: «А вы отец»? – «Ммм-да…» Доктор развел руками: «Ну так чего же вы от нее хотите?»

Вместе с Бальмонтами жила и Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости она влюбилась в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные гроши делать Бальмонтам подарки.

Тэффи считала, что Бальмонт был поэтом всегда. О самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего обещанного гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звенящие возможности», жене Елене объяснял: «Я слишком

Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине».

Близкие тоже говорили с ним и о нем по-особому. Жена Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт». Простая фраза «Муж просит пить» на их языке произносилась как «Поэт желает утоляться влагой».

Но Елена Константиновна оказалась не последней любовью поэта. В Париже он возобновил начавшееся в марте 1919 года знакомство с княгиней Дагмар Шаховской (1893 – 1967). «Одна из близких мне дорогих, полушведка-полуполька, княгиня Дагмар Шаховская, урожденная баронесса Лилиенфельд, обрусевшая, не однажды напевала мне эстонские песни», – так характеризовал свою возлюбленную Бальмонт в одном из писем. Шаховская родила Бальмонту двух детей – Жоржа (1922 – 194?) и Светлану (р. 1925). Поэт не смог бросить семью; встречаясь с Шаховской лишь изредка, он часто, почти ежедневно писал ей, раз за разом признаваясь в любви, рассказывая о впечатлениях и планах; сохранилось 858 его писем и открыток. Как бы то ни было, не Шаховская, а Цветковская провела с Бальмонтом последние, самые бедственные годы его жизни; она умерла в 1943 году, спустя год после кончины поэта. А дочь его Мирра Константиновна Бальмонт (в замужестве – Бойченко, во втором браке – Аутина) писала стихи и печаталась в 1920-е годы под псевдонимом Аглая Гамаюн. Она умерла в Нуази-ле-Гран в 1970 году.

Тэффи вспоминала, что последние годы своей жизни Бальмонт «сильно хворал». Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала. Тэффи в тот вечер декламировала стихи Бальмонта и рассказала с эстрады о том, как когда-то магия этих стихов ее спасла.

Дело было в разгар революции. Тэффи ехала ночью в вагоне, «битком набитом полуживыми людьми». Они сидели друг на друге, стояли, «качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали и громко плакали во сне». Чуть не задавил один страшный старик, наваливаясь ей на плечо, «с открытым ртом и подкаченными белками глаз». Было «душно и смрадно, и сердце колотилось и останавливалось». И вдруг «запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское»:

В замке был веселый бал,

Музыканты пели…

«Под утро наш поезд остановился, – писала Тэффи. – Страшного старика вытащили синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха».

Саша Чёрный 1880 – 1932 «Описать ее фигуру – надо б красок сорок ведер…»

Саша Чёрный (псевдоним, настоящее имя Александр Михайлович Гликберг; другие псевдонимы – Сам по себе, Мечтатель) – поэт, прозаик, переводчик, родился 1 (13) октября 1880 года в Одессе в семье провизора. Семье, можно сказать, зажиточной, но малокультурной. Счастливым детство Саши не назовешь. Мать, больную, истеричную женщину, дети раздражали. Отец, отличавшийся крутым нравом, не входя в разбирательство, их наказывал. В семье было 5 детей, двоих из которых звали Саша. Блондина называли «Белый», брюнета – «Чёрный». Отсюда и псевдоним.

Поступить в гимназию Саша не мог из-за процентной нормы для евреев. Отец уже собирался было отдать его в обучение какому-либо ремеслу, но передумал и разом решил крестить всех детей, тем самым уравняв их в гражданских правах с прочими российскими подданными христианского вероисповедания. После чего Саша Гликберг 9 лет от роду поступил, наконец, в гимназию.

Из воспоминаний В. А. Добровольского:

«Чаще всех доставалось, судя по всему, Саше, исключительному выдумщику и фантазеру. То пытался он сделать непромокаемый порох из серы, зубного порошка и вазелина, то изготовлял чернила из сока шелковичного дерева, превращая квартиру в небольшой химический завод. Нет, ни озорником, ни задирой, ни хулиганом его не назовешь. Просто-напросто: „Мальчик был особенный. Из тех мальчиков, что шалят-шалят, вдруг притихнут и задумаются… И такое напридумают, что и выговора серьезного сделать нельзя, – начнешь выговаривать, да сам и рассмеешься“».

Вскоре учеба обернулась неким подобием казенной службы, новыми страхами и наказаниями, которые добавились к домашнему игу. Стоит ли удивляться тому, что в пятнадцатилетнем возрасте он бежал из дома, последовав, кстати, примеру старшего брата.

Вначале беглеца приютила тетка, сестра отца, отвезла его в Петербург, где он в качестве пансионера продолжил учение в местной гимназии. Но когда его «за двойку по алгебре» исключили из гимназии, он фактически оказался без средств к существованию. Отец и мать перестали отвечать на письма

блудного сына с мольбами о помощи.

Дальнейший поворот событий трудно, пожалуй, назвать другим словом, как чудо. Узнав по чистой случайности о судьбе несчастного юноши, брошенного семьей, начинающий журналист Александр Яблоновский поведал о его горестной участи на страницах «Сына отечества» – одной из крупнейших газет того времени. Статья попала на глаза житомирскому чиновнику К. К. Роше, и тот решил взять его к себе в дом. Так Саша Чёрный в конце 1898 года очутился в Житомире – городе, ставшем для него поистине второй родиной. Гимназию в Житомире не удалось закончить из-за конфликта с директором. Да, по правде сказать, и поздно было учиться – подоспело время призыва на воинскую службу. Отслужив два года в качестве вольноопределяющегося, Саша Чёрный оказывается в местечке Новоселицы на границе с Австро-Венгрией, где поступает на службу в местную таможню. В какой-то момент, обуреваемый честолюбивыми мечтами, он решает перебраться в Петербург.

Поначалу новоиспеченному петербуржцу пришлось заняться канцелярской работой – на службе сборов Варшавской железной дороги. И хотя на первых порах его приютили родственники хороших знакомых, неуютно и одиноко чувствовал себя провинциал в Северной столице. Его непосредственной начальницей на службе была Мария Ивановна Васильева, которая проявила к нему участие. Вскоре они связали свои судьбы узами брака. Союз оказался прочным, несмотря на разницу в возрасте (Мария Ивановна была старше на несколько лет), в положении и образовании: она была ученицей видного профессора философии А. И. Введенского и родственницей известных купцов Елисеевых.

Свадебное путешествие летом 1905 года молодожены провели в Италии. По возвращении Саша Чёрный решает оставить ненавистную конторскую службу, дабы целиком отдаться литературной деятельности и образованию. В 1906 – 1907 годах он прослушал курс лекций в Гейдельбергском университете.

В своей работе о Саше Чёрном Николай Станюкович писал о том, что «популярность писателей-юмористов кратковременна, их книги редко переживают их авторов… Писателей-юмористов немного. Дар подмечать смешные стороны жизни, способность заразительного смеха, не переходящего в досужее зубоскальство (зачастую выдаваемое за юмор), – драгоценнейшее качество, а когда оно усилено доброжелательством, любовью к миру – человеку, ребенку, животному – и освещено ясным разумом, то между писателем и читателем дружественная близость и понимание возникают, как говорится, „с полуслова“. Всем этим Саша Чёрный обладал преизбыточно, и его любили…»

Во время Первой мировой войны Александр Михайлович был прикомандирован к большому военному лазарету. Он должен был вести списки раненых, писать для них письма в деревню и… извещать семьи о смертях.

Таким образом, ему пришлось близко соприкоснуться с русским солдатом, притом с солдатом страдающим, одиноким на своей койке, жаждущим раскрыть душу, а иногда, накануне смерти, и высказать себя до конца; а если выздоравливает, то и покалякать в вечерний час: рассказать ласковому лазаретному чиновнику были и небылицы, эпизоды военной жизни, приправленные фантазией.

Об эмигрантских днях жизни Саши Чёрного вспоминал Николай Станюкович, рассказывая о том, как в 1929 году ему впервые удалось вырваться из парижских рабочих будней и провести счастливый месяц в Ментоне:

«Поезд трогается, но еще долго слышится возня, чмоканье откупориваемых бутылок, и ветерок – все окна и двери открыты настежь – доносит кисловатый запашок „пинара“… Жена выходит в коридор, чтобы еще раз насладиться то появляющимся, то исчезающим морским простором. „Ты знаешь, – говорит она, вернувшись, в радостном волнении, – в матросском купе, в уголке сидит, совсем задавленный, Саша Чёрный. Зови его сюда, на свободное место“.

Что-то необыкновенно милое, чистое было в этом сохранившем молодость лице, увенчанном облаком легких, курчавившихся, совершенно седых волос, еще резче выделявших черноту бровей и короткой ниточки усов. „Вы – Саша Чёрный? Пойдемте, у нас есть место…“ Со вздохом облегчения, но без всякого удивления Саша Чёрный, захватив свой небольшой, поношенный, но добротный чемоданчик русской работы, последовал за мною. В Париж мы приехали уже друзьями и в немногие оставшиеся ему годы проводили каникулы вместе, в благословенном Фавьере, обратившемся после войны в шумный курортный поселок, а тогда состоявшем из немногих русских дачек, под соснами у моря, на великолепном песчаном пляже которого собирались и разбредались вдоль берега десятка два-три русских фигур – подлинное раздолье!»

В Ла-Фавьере было раздольно. Саша и Манта (Мария Ивановна) Чёрные («с длинношерстым фоксом Микой – Саша любил, держа его за задние лапки, перекинуть через плечо и, оглаживая, бродить с ним под соснами, приговаривая: „Мушка, Мушка…“») проживали вначале вместе с Билибиными и Станюковичами на даче Милюкова. В этой же компании ютился Куприн, в сарайчике для рыбацких лодок на самом берегу. Тут же

поблизости проживал «милый старик» Соломон Крым, бывший председатель Крымского правительства, автор книжки сказок, вдохновленных татарским эпосом, а в эти времена обратившийся в официального дегустатора вин, большим знатоком которых он – крымский винодел – почитался издавна. В Ла-Фавьер наезжали поэты: Борис Поплавский, который предавался на пляже атлетическим упражнениям с гирями, вернее, с одной гирей, заменяя недостающую консервной банкой, наполненной песком, Вадим Андреев и Антонин Ладинский, бывали и другие, художники, ученые. Одним из пионеров этого обретенного рая и подлинной душой общества был Саша Чёрный.

По словам современников, «его очаровательная простота, его понимание того, как нужен всем этот отдых, и умение помочь людям забыть тяготы жизни за веселой беседой, за стаканом вина, умение попотчевать неисчерпаемым запасом анекдотов и заставить посмеяться даже тех, кто отвык улыбаться, – все это побуждало „фавьерцев“ искать его общества и… почувствовать как личное горе его неожиданную и преждевременную кончину – Александру Михайловичу едва перевалило за пятьдесят лет».

Умер Саша Чёрный от солнца. Как писал Станюкович: «Его поразил солнечный удар на лесном пожаре, куда он, конечно, прибежал одним из первых. … летом он всегда носил старинное канотье, в котором даже и купался, а тут впопыхах тушил пожар с обнаженной головой. Возвращаясь домой, почувствовал себя дурно, на час-другой, благодаря любовному и опытному уходу Маши – русской сестры милосердия, как будто оправился, но удар повторился.

Нести его гроб надо было далеко, по крутым склонам до дороги, где стояла черная колесница, запряженная одной древней клячей.

Несли князь Лев Оболенский, Ладинский, Билибин… сменяясь с другими. Священника ко дню похорон выписать не удалось, но у нас составился хороший хор, сопровождавший шествие до самой могилы, на кладбище Лаванду прах Сашу Чёрного опустили в землю под панихидные песнопения… Он был похоронен с русской истовостью, за его гробом не шло ни одного равнодушного, мечтающего об окончании „церемонии“».

Саша Чёрный обладал удивительным душевным равновесием. Его не сломили ни сознание невозвратимости *его* России, ни изгнание, но живая память о родине, сознание нашей общей перед нею вины его никогда не оставляли…

Прокуроров было слишком много!

Кто грехов Твоих не осуждал?

А теперь, когда темна дорога,

И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли…
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли…

Высшая точка посмертного признания таланта Саши Чёрного – это создание Шостаковичем музыки на цикл его стихов. Владимир Набоков в прощальном слове на похоронах сказал с грустью и нежностью, может быть, самые правдивые слова об этом человеке: «Осталось несколько книг и тихая прелестная тень».

Владимир Набоков 1899 – 1977 «Ты мелькнешь в закатном блеске и уйдешь во мглу»

Нина Берберова в своей книге «Курсив мой» писала: «Я постепенно привыкла к его манере… не узнавать знакомых, обращаться, после многих лет знакомства, к Ивану Ивановичу как к Ивану Петровичу, называть Нину Николаевну – Ниной Александровной, книгу стихов „На западе“ публично назвать „На заднице“, смывать с лица земли презрением когда-то милого ему человека, насмехаться над расположенным к нему человеком печатно (как в рецензии на „Пещеру“ Алданова), взять все, что можно, у знаменитого автора и потом сказать, что он никогда не читал его. Я все это знаю теперь, но я говорю не о нем, я говорю о его книгах. Я стою „на пыльном перекрестке“ и смотрю „на его царский поезд“ с благодарностью и с сознанием, что мое поколение (а значит, и я сама) будет жить в нем, не пропало, не растворилось между Биянкурским кладбищем, Шанхаем, Нью-Йорком, Прагой; мы все, всей нашей тяжестью, удачники (если таковые есть) и неудачники (целая дюжина), висим на нем. Жив Набоков, значит, жива и я!»

Владимир Владимирович Набоков родился в Санкт-Петербурге 10 (22) апреля 1899 года – в один день с Шекспиром и через 100 лет после Пушкина, как он любил подчеркивать. Свою родословную он довольно выразительно описал в автобиографическом романе «Другие берега»: «…мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами… Среди моих предков много служилых людей, есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн, есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны), есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской

богадельни и комендант С.-Петербургской крепости – той, в которой сидел супостат Достоевский, есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец)».

Дед писателя был министром юстиции при Александре III, а отец, известный юрист, – один из лидеров (наряду с Павлом Николаевичем Милюковым) Конституционно-демократической (кадетской) партии, член Государственной Думы. Древняя родословная «от крестоносцев» была причиной многих набоковских вдохновений, давала «удивительное ощущение своей избранности».

Набоков-старший в быту был англоманом, Владимира в семье называли на английский манер Лоди и английскому языку обучили прежде русского. Большая домашняя библиотека, помимо мировой классики содержащая все новинки не только художественной, но и научно-популярной литературы, журналы по энтомологии (пожизненная набоковская страсть к бабочкам), прекрасные домашние учителя (уроки рисования давал известный график и театральный художник Мстислав Добужинский), шахматы, теннис, бокс сформировали круг интересов и будущих тем. На всю жизнь Набоков останется поглотителем самых разных книг, словарей и будет поражать окружающих универсальностью своих знаний.

В 1911 году Владимира отдали в одно из самых дорогих учебных заведений России – Тенишевское училище, хотя оно и славилось сословным либерализмом. «Прежде всего, я смотрел, который из двух автомобилей, „бенц“ или „уользлей“, подан, чтобы мчать меня в школу, – вспоминал Набоков в „Других берегах“. – Первый был мышиного цвета ландолет. (А. Ф. Керенский просил его впоследствии для бегства из Зимнего дворца, но отец объяснил, что машина и слаба, и стара, и едва ли годится для исторических поездок.)» Директором Тенишевского училища был одаренный поэт Владимир Васильевич Гиппиус. В шестнадцатилетнем возрасте Владимир Набоков, под впечатлением первой влюбленности, и сам начал писать «по две-три „пьески“ в неделю» и в 1916 году за свой счет издал первый поэтический сборник. Владимир Гиппиус, которому он попал в руки, «подробно его разнес» в классе под аккомпанемент общего смеха. «Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина, встретившись на заседании Литературного фонда с моим отцом… сказала ему: „Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет“, – своего пророчества она потом лет тридцать не могла мне забыть» («Другие берега»). Позже и сам

автор назвал свой первый поэтический опыт «банальными любовными стихами».

Зинаида Шаховская вспоминала о том времени: «Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до чрезвычайности. Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим. Замечая все и всех, он готов был это приколоть, как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое и уродливое, но также и прекрасное, – хотя намечалось уже, что нелепое давало ему большее наслаждение. Того, что называлось – не в ироническом смысле слова – барством, на мой взгляд, в Набокове не было, как не было ничего и помещичьего или, скажем, московского, то есть старорусской простоты. Он был очень ярко обозначенной столичной, петербургской „штучкой“».

Сразу же после октябрьского переворота, в ноябре 1917 года, Набоков-старший отправил семью в Крым, а сам остался в столице, надеясь, что еще можно предотвратить большевистскую диктатуру. Но вскоре он присоединился к семье и вошел в Крымское краевое правительство как министр юстиции.

Эмигрируя, Набоковы через Турцию, Грецию и Францию добрались до Англии. В том же 1919 году Владимир стал студентом Кембриджского университета, вначале специализируясь по энтомологии, затем сменив ее на словесность. В 1922-м он с отличием его закончил. Во время студенчества определились основные набоковские пристрастия в русской литературе: «Пушкин и Толстой, Тютчев и Гоголь встали по четырем углам моего мира. Я зачитывался великолепной описательной прозой великих русских естествоиспытателей и путешественников…» («Другие берега»). На кембриджских книжных развалах он, неожиданно натолкнувшись на толковый словарь Даля, приобрел его и ежедневно читал по нескольку страниц. После окончания университета Владимир Набоков переехал в Берлин, где его отец основал эмигрантскую газету «Руль». В то время в немецкой столице сосредоточилась литературная и интеллектуальная эмиграция из России, русские заселили целые кварталы (и даже придумали анекдот о немце, который повесился на Курфюрстендамм из-за тоски по родине).

Переводчик статей для газет, составитель шахматных задач и шарад, преподаватель тенниса, французского и английского языков, актер, сочинитель маленьких скетчей и пьес, голкипер в футбольной команде – этим на первых порах в Берлине Владимир зарабатывал на жизнь. По воспоминаниям, он был тогда необычайно стройным молодым человеком, «с неотразимо привлекательным тонким умным лицом» и общительным ироничным нравом.

В том же 1922 году, на одном из эмигрантских собраний, был убит его отец, заслонивший собой Павла Милюкова от выстрелов монархистов (кстати, когда уже в 1940-х годах в оккупированной Франции его сестре Елене Владимировне Набоковой-Сикорской пришлось оформлять документы в соответствии с «новым порядком», на бумагах из управления по делам русской эмиграции стояла подпись одного из убийц отца – Петра Шабельского-Борка, работавшего там с приходом к власти нацистов). Это поколебало религиозное чувство Владимира Набокова, а в дальнейшем он демонстративно подчеркивал свой атеизм, хотя многие страницы его прозы противоречат этому. Так, в «Возвращении Чорба» можно прочитать, что счастье «во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество». Впрочем, это могло быть продиктовано воспитанием. Отец его был масоном, по утверждению Нины Берберовой (ей принадлежит книга о масонах «Люди и ложи»), а по признанию самого Набокова, среди предков его матери были сектанты, что «выражалось в ее здоровом отвращении от ритуала греко-православной церкви».

В 1920-е годы Набокова видели как «светского молодого человека, который часто бывает в интеллектуальных и светских кругах». Он только что вернулся в Берлин из Кембриджа. Друзья смотрели на него как на будущего великого писателя, все признавали его талант, ходили на его выступления. Как раз в это время Набоков стал женихом Светланы Зиверт, 17-летней особы, «высокой, хорошенькой девушки, с большими черными глазами, как-то по-особенному сияющими, с темными волосами и смугло-золотистой кожей, от которой исходит радость и теплота».

Почти половина стихов «Грозди» – первого зрелого поэтического сборника Сирина (псевдоним Владимира Набокова) – обращены к Светлане Зиверт и навеяны каждодневными встречами. Вскоре состоялась их помолвка. И хотя в эти месяцы жениху выпало суровейшее испытание (очередной приезд Набокова из Кембриджа в Берлин на свидание с невестой в конце марта 1922 года несчастнейшим образом совпал с гибелью Владимира Дмитриевича) – Светлана все-таки была рядом с ним

все последующие дни. Но свадьба не состоялась.

Через много лет сестра Набокова, Елена Владимировна, на вопрос, почему это случилось, ответила открыто, просто и ясно: «Ее родители решили, что за такого голоштанника нечего выходить замуж». Эту же причину назвал и Брайан Бойд в биографии Набокова, ссылаясь на свою переписку с госпожой Андро де Ланжерон (это и была Светлана Романовна Зиверт) 1981 – 1983 годов, которая сохранила «свежую голову» и добрую память о Берлине и времени, проведенном с Набоковым.

Зинаида Шаховская пишет о том, что встретилась с «этой дамой» в Брюсселе почти сразу после войны: «А письмо ей, в 1923 году посланное Набоковым после разрыва, такое прелестное, живое, теплое, – хотя уже чем-то уж очень набоковское, то есть писательское и просящееся в антологию или, по крайней мере, в биографию. Судя по нему, В. работал тогда дровосеком на юге Франции, собирался поехать в Бискру, в Алжир… чтобы найти место, где „даже тени“ Светланы не будет…»

Отрывок из письма Набокова:

«Свет,

я прощения не прошу, что вот пишу тебе, в данную минуту это мне кажется так просто… Когда письмо уйдет, я, быть может, спохвачусь, будет дико и страшно, что написал. Но я так далек от Берлина, от тебя, так невозможно столкнуться с тобой – у входа в какой-нибудь театр (как это не раз случалось), что я без боязни пишу, без чувства неловкости пишу это ненужное письмо. И в конце концов, вся твоя семья мне дорога, весь Лихтерфельд связан в моей памяти с самым большим счастьем, которое было и будет у меня, – и поэтому нелегко отрезать это живое вспоминание, стать равнодушным к нему и чужим… И видишь: я даже не могу написать литературно и почерк странно клонится – это потому, что я сейчас работал, копал, и вот пальцы не слушаются. Знаешь, какая есть свобода? Я ведь сейчас могу тебя назвать всеми теми именами, которыми тогда называл, могу сказать тебе самые сумасшедшие, самые нежные вещи – и ты ничего не можешь сделать – приходится читать. Вот моя свобода…

Но я тебе не скажу всего этого, всего, что поет и плещется в памяти. Не это главное, не это нужно. А что нужно, сам не знаю – мне казалось сперва, что напишу тебе очень много, очень полно… И вдруг все затуманилось – ничего не могу тебе сказать, кроме того что сейчас вечер, необыкновенная жара, кипарисы, пальмы и все такое… Потом всю ночь будут квакать и захлебываться лягушки, заглушая и сад, и большого растрепанного соловья, которого можно иногда видать перед окном на верхних ветках на

фоне луны… И может быть, знаешь, это и есть главное – луна, лягушки, письмо. И вот мне на душе странно легко и просторно, и кажется мне, что я все понимаю… Ах, Свет, Свет, и куда это все ушло и зачем это так, именно так ушло?

Отчего я любил тебя, отчего до сих пор так упорно и нежно люблю?

У меня в Берлине бывали глупейшие галлюцинации – рвущие душу – я видел тебя на всех углах и в моем кресле у стола, когда я вечером возвращался домой. Неловко как-то об этом говорить, но ведь ты понимаешь, что не твоя это вина, ты ни при чем, ты не могла иначе поступить… Зато, благодаря тому, что случилось, я нашел какие-то новые слова, стал лучше писать, что ли, и это „писание“ – единственное, что мне теперь дорого и важно… А вот письмо не выходит… Как-никак всего я сказать тебе не могу и оттого спотыкаюсь, теряюсь…

Когда получишь – удивишься, сдвинешь брови… Покажешь Татьяне… Попробуешь, может быть, ответить – и ничего у тебя тоже не выйдет… Все равно… Одно ясно. Я никогда не думал, что можно так чувствовать. Где бы я ни был за последнее время, в Дрездене, Страсбурге, Лионе, Ницце, – чувствовал я все то же. В июле я отсюда уезжаю в Бискру (это маленький город вроде оазиса в Северной Африке) и если найду на земном шаре такое место где тебя, тени твоей не будет, то поселюсь там навсегда… Глупо звучит, романтически… Но есть вещи, которые всегда звучат глупо. Ну, спокойной ночи, моя дорогая Свет, моя хорошая… Ты сейчас бы не узнала меня: ничем я с виду не отличаюсь от своих товарищей, итальянских рабочих, которые так ругаются, что бедного Бобо запугали бы, наверное, до смерти. Что ты делаешь сейчас! О чем говоришь вечерами? Напишешь ли мне? Ведь пойми же: объяснять ничего не нужно… То, что случилось, случается часто… Вся поэзия построена на этом.

Я устал, рука болит… Прощай, Свет… Не то, не то я написал тебе, совсем не то… Но пускай… Прости мне и письмо, и любовь, и только не называй это „приставанием“ – понимаешь?

Я думаю – я еще когда-нибудь встречу тебя… Странные бывают мысли…

В».

В конце лета 1923 года Набоков познакомился с Верой Евсеевной Слоним. Пришла новая любовь, брак, семья, блестящие романы, стихи, бабочки, сын, американская одиссея, возвращение в Европу, всемирная известность… В 1926 году они поженились. В 1961 году на вопрос французского журналиста Пьера Бениша, любит ли он Пруста, Набоков ответил: «Я его обожал, потом очень, очень любил – теперь, знаете…» Тут, прибавляет Бениш,

вмешалась госпожа Набокова: «Нет-нет, мы его очень любим». Их сын Дмитрий (1934 года рождения) станет лучшим переводчиком русских книг отца на английский язык.

Набоков был необыкновенно заботливым человеком. Зинаида Шаховская вспоминает, каким он был примерным и добрым отцом, мужем и сыном:

«В. безустанно заботится о своей матери, о брате Кирилле. Рождение же сына повергает его в перманентное умиление. Об этом событии нам было сообщено без промедления открыткой из Берлина от 14 мая 1934 года: „В четверг у нас родился сын Димитрий“, – а затем как приложение к письмам сведения о нем. Сын его „сплошное очарование“. „Мальчик мой ходит, держа передние лапки, как пляшущий пудель“. И как живописно описывал В. устно, при встречах, приятность ухода за младенцем, например удовольствие катать его в колясочке. В те времена, когда отцы еще не снисходили до помощи своим еще не эмансипированным женам в уходе за детьми, В. нянчил своего сына. Вера работала на стороне, а он сидел дома. Он прибегал к терминам теннисной игры, с гордостью рассказывая об искусстве стирания пеленок. „Это очень легко, сперва потереть, потом так, в одну сторону drive [12] и в другую back hand [13] “, – все это с соответствующими жестами теннисиста».

В Берлине Набоков прожил до 1937 года, затем, опасаясь преследований нацистов, переехал в Париж, а в 1940 году эмигрировал в Америку. За европейский период были написаны почти все лучшие его книги, подписанные псевдонимом Сирин. Почти все эти произведения пронизаны напряжением русских воспоминаний, два эмоциональных полюса которых можно выразить набоковскими поэтическими строками – 1919 год:

Ты – в сердце, Россия. Ты – цепь и подножие,
Ты – в ропоте крови, в смятенье мечты.
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты.

1937 год:

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
От слепых наплываний твоих.

Русская эмигрантская критика выделяла как вершины набоковского творчества романы «Защита Лужина» – о гениальном шахматисте и «ужасе шахматных бездн»; «Приглашение на казнь» – «множество интерпретаций… на разных уровнях глубины. Аллегория, сатира, сопоставление воображаемого и реальности, страшная проблема жизни и

вечности…» (Зинаида Шаховская) и «Дар» – соединение нескольких романов, среди которых выделяется роман-пасквиль на Николая Чернышевского как генератора бездуховных идей, которые впоследствии привели Россию к утилитарности искусства и тоталитаризму власти.

Надо отметить, что отношение русского литературного зарубежья к Набокову выражалось часто противоположными суждениями. Евгений Замятин сразу же объявил его самым большим приобретением эмигрантской литературы, Зинаида Гиппиус, в конце концов, признала его «талантом», но таким, которому «нечего сказать», Марк Алданов писал о «беспрерывном потоке самых неожиданных формальных, стилистических, психологических, художественных находок», Владислав Ходасевич называл его «по преимуществу художником формы, писательского приема… Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов… но напротив: Сирин сам их выставляет наружу…».

Иван Бунин признавал в молодом Сирине истинно талантливого писателя, но настолько отличного от него самого, что называл его «чудовищем», правда, не без восхищения, как свидетельствуют мемуаристы. Эмигрантская критика подчеркивала и стилистическую холодность – «нерусскость» Набокова, и «следы», которые оставили в его творчестве Пруст, Кафка, немецкие экспрессионисты, Жироду, Селин, и подозрительную плодовитость его как писателя. По собственному признанию, Набоков писал иногда по 15 – 20 страниц в день, помимо этого он был отличным чтецом.

Из воспоминаний Зинаиды Шаховской:
«Читал В. великолепно, но всегда читал имея перед собой свою рукопись, с интересными интонациями, но никак не по-актерски, с очень характерным жестом, левая рука к уху. Поэтому я особенно люблю фотографию 1937 года, о которой В. написал: „Посылаю вам лучшую из моих морд“. По-русски читал В. раза два-три у нас в нашей гостиной. Народу было не много, дискретно, пришедшие внесли кто сколько мог за абстрактный билет. Помнится, что одна очень красивая дама, имеющая модную мастерскую, прослушав отрывок из „Приглашения на казнь“ в 1939 году, воскликнула: „Но ведь это сплошной садизм!“»

Поселившись в Соединенных Штатах, Владимир Набоков перешел как писатель на английский язык. Несмотря на мучительность этого перехода, в чем он неоднократно признавался, Америку он воспринял как землю обетованную. Много лет спустя, в интервью 1969 года, Набоков объяснился ей в

любви: «Америка – единственная страна, где я чувствую себя интеллектуально и эмоционально дома». За двадцать лет жизни там написаны романы «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1941), «Другие берега» (1951 – на английском; 1954 – переведен на русский), «Пнин» (1957).

Роман «Лолита» (1955), написанный там же, – о двенадцатилетней американской «нимфетке», ставшей «смертоносным демоном» для сорокалетнего Гумберта, – принес ему мировую славу, а также деньги. Представляется, что именно в этом романе окончательно материализовались слова Адамовича о Набокове: «Все наши традиции в нем обрываются». Вообще, здесь обширное поле для размышлений. На протяжении всей жизни две фигуры вызывали у Набокова неизменную ярость – «супостат» Достоевский и Фрейд, которого он называл «венским жуликом». И обе эти фигуры неизбежно приходят на ум при чтении «Лолиты». Дмитрий Мережковский писал о Достоевском: «Рассматривая личность Достоевского как человека, должно принять в расчет неодолимую потребность его как художника исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца… У Набокова „бездн“ по Достоевскому не получилось – получилась патология по Фрейду. „Лолита“, написанная стилистически блестяще, как и все у Набокова, тем не менее представляется богатым материалом для психоанализа, изобретателем коего и явился „венский жулик“».

В 1960 году Владимир Набоков вернулся в Европу и поселился в Швейцарии, выбрав курортное местечко Монтрё, еще в студенческие годы поразившее его «совершенно русским запахом здешней еловой глуши». Вышли его романы «Бледный огонь» (1962), «Ада» (1969) с рекламой на обложке американского издания: «Новый бестселлерный эротический шедевр автора „Лолиты“». Затем появились романы: «Просвечивающие предметы» (1972) и «Взгляни на арлекинов!» (1974).

В конце жизни на вопрос корреспондента Би-би-си, вернется ли он когда-нибудь в Россию, Набоков ответил: «Я никогда не вернусь, по той причине, что вся та Россия, которая нужна мне, всегда со мной: литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь… Не думаю, чтоб там знали мои произведения…» С этим заблуждением он и ушел из жизни в 1977 году. Похоронен на швейцарском кладбище Клэренс в Монтрё.

В одном из интервью радиостанции «Голос Америки» (от 14 мая 1958 года) журналист заметил: «В вашей автобиографии есть, между прочим, страничка, где вы говорите о бабочках, которую я знаю почти наизусть. Я хочу попросить вас прочесть ее нашим радиослушателям». Набоков ответил: «С удовольствием, – и

продолжил: – Далеко я забрел, – однако былое у меня все под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях аризонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Санмигуэльских гор, на озерах Тетонского урочища и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды…

Признаюсь, я не верю в мимолетность времени – легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение – вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства – это наудачу выбранный пейзаж, все равно в какой полосе, тундровой или полынной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектеди…»

Набоков говорил не только о бабочках, завершая интервью словами:

«Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, все, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета умиления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, to whom it may concern [14] – не знаю, к кому и к чему, – гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливца».

Примечания

1

Diele – танцплощадка (*нем.*).

2

Псевдоним Владимира Набокова.

3

Ва-банк (*фр.*).

4

Анна Ахматова.

5

Говорите потише! (*Фр.*)

6

Гигант (*ит.*).

7

Да здравствует Горький! Да здравствует русская музыка! Долой царя! (*Ит.*)

8

От *dessous* – женское нижнее белье (*фр.*).

9

По материалам книги Андрея Арьева «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование

10

Паспорт Нансена – международный документ, выдававшийся Лигой Наций беженцам без гражданства. Был разработан в 1922 году Фритьофом Нансеном, знаменитым полярником, в то время комиссаром Лиги Наций по делам беженцев. Русские эмигранты были первыми, кому стали выдавать такие паспорта.

11

От *alerte arienne* – воздушная тревога (*фр.*).

12

Сильный удар (*в теннисе*) (*англ.*).

13

Удар слева (*в теннисе*) (*англ.*).

14

Для предъявления по месту требования (*в официальных документах*) (*англ* .).